

Василий Брусянин

В стране озёр



Василий Васильевич Брусянин

В стране озёр

Серия «В стране озёр»

Аннотация

«Серые, пушистые облака низко ползли над землёю. Холодный ветер гнал их мне навстречу с далёкого севера. И плыли они в синеве неба как гигантские серые птицы, безмолвные, без взмахов больших и неподвижных крыльев. Серые тени облаков ползли по полям и по болотам с низкорослыми сосенками и точно уходили в лес, сливаясь с окраскою зеленеющей хвои. Солнце светило ярко, но холодно, и душа чувствовала эту холодность...»

Содержание

В сосновом лесу	4
Кузьма из Чембара	33
Давид Мартинен	48
В дни выборов	63

Василий Брусянин

В стран озёр

*(Из летних скитаний
по Финляндии)*

В сосновом лесу

Серые, пушистые облака низко ползли над землёю. Холодный ветер гнал их мне навстречу с далёкого севера. И плыли они в синеве неба как гигантские серые птицы, безмолвные, без взмахов больших и неподвижных крыльев. Серые тени облаков ползли по полям и по болотам с низкорослыми сосенками и точно уходили в лес, сливаясь с окраскою зеленеющей хвои. Солнце светило ярко, но холодно, и душа чувствовала эту холодность...

Поезд шёл медленно, останавливаясь на дачных полустанках. Дачники раздражали меня своей суетливостью, своими пакетиками, узелками и корзинками. Посмотришь им в глаза – ни блеска, ни оживления. Прислушаешься к речи – скучные заботы о текущем дне, плоские остроты, пошлые выводы...

Переутомлённые петербуржцы едут на дачи и везут с со-

бою в ширь полей и под тихие навесы сосновых лесов свою скуку и мелкое довольство истекшим днём... Это – мои последние впечатления родины, похожие на бессвязные подробности скверного сна минувшей ночи.

За станцией «Белоостров» нас рассмешил юный студентик.

Когда поезд миновал мост через Сестру-реку, он вернулся с площадки вагона и, обращаясь к своим спутникам – двум дамам и господину в панаме, – сказал:

– Господа, у меня началась тоска по родине!..

Рассмеялись дамы, рассмеялся господин в панаме... рассмеялся и я, и тихую грустью отозвался этот смех у меня в груди.

Из каких-то таинственных политических и дипломатических соображений Сестру-реку не считают границей. Иронически отнёсся к своему замечанию и юный студентик, настроенный по дачному. Он и не подозревал, что там, откуда плывут серые облака, на его шутку никто не ответил бы непринуждённым смехом.

А серые облака как безмолвные птицы с неподвижными крыльями, всё ещё плыли навстречу мне.

Чтобы развеять какую-то еле уловимую грусть души, я перелистывал толстую книгу о Финляндии, и моё внимание остановило дивное стихотворение (Захария Топелиуса в переводе В. Головина).

«Все рады мы, финны, свой труд отдавать
Финляндии, матери милой;
Глубь вод её мерить и пашни пахать,
Ей быть рукодельною силой;
И верность, и честь
На службу ей несть,
Чтоб в мирном приволье могла она цвести;
Чтоб мать не нуждалась,
Жила без скорбей
И честно питалась
Работой детей.
Все рады мы, финны, свой труд отдавать
Финляндии, матери милой»...

Этим красивым гимном своей родине встретил меня престарелый поэт «страны озёр».

* * *

Я ехал в поезде, идущем в Гельсингфорс, стоял на площадке вагона и насыщал лёгкие дивным ароматом сосновых лесов.

Мне казалось почему-то, что из Петрограда я убегаю от грозного призрака чахотки. Я немного покашливал и непоколебимо верил в целебность воздуха, напоённого ароматом сосновых лесов.

Друзьям, провожавшим меня, я говорил:

– Вот увидите, на родину я вернусь без кашля, коричневым от загара, сильным и пополнившимся от простокваши.

Судьба столкнула меня с единомышленником.

Это был финн лет пятидесяти, коренастый человек с копной густых волос на голове, с густыми нависшими бровями на морщинистом лице, с седыми баками как у покойного Ибсена. В глазах его мерцала угрюмая мысль; от глухого, но твёрдого голоса веяло холодом севера. Но наружность финна, а в особенности его сходство с моим любимым норвежским писателем – подкупили меня, и я ему поверил.

Как оказалось, он подслушал мой разговор с приятелями при прощании и начал свою речь без предисловия.

– Короша дача... Моя знакомая... Пишите адрэс... Сосна!.. Р-ругом сосна!.. Озеро, лодка, молоко, яйца... Две комнаты, балхон...

Все эти слова он произнёс по-русски и настолько хорошо, что я его понял. Я пришёл даже в восторг, услыша два слова: «рр-ругом сосна!», и стал его расспрашивать, где дача его знакомой, сколько будут стоять две комнаты и т. п. Но он уже ничего не мог сказать мне... Собственно, он говорил много и горячо, но это была уже непонятная часть его речи – смесь финских слов с искажёнными русскими. Скоро я убедился, что мой собеседник уже израсходовал весь свой запас русских слов, но ему, по-видимому, казалось, что я ещё недостаточно проникся его уверениями, и он повторял:

– Р-ругом сосна! И-и! Сосна... Озеро, сосна, лодка...

Опять, сосна... Сосна и сосна... Пишите адрес...

Я записал «адрес», поблагодарил приятного человека, так же, как и я, верующего в целебность аромата сосны, и, оставив поезд на одной из станций под Выборгом, поехал искать дачу г-жи З.

При имени З. извозчик почему-то улыбнулся, и хотя не понял дальнейших моих вопросов, но всё же ответил, что поездка до озера будет стоить рубль. Слово «рубль» произнёс он весьма удовлетворительно.

На бешеной лошади мы ехали прекрасной шоссированной дорогой. Направо и налево вдоль дороги теснились ароматные сосны. Мы миновали длинную финляндскую деревушку и снова въехали в сосновый лес. У дороги – малорослые весёлые сосны; дальше на холмах зеленеют и рисуются на фоне безоблачного неба густые сосновые боры... Кругом сосна!.. Сосна и сосна!.. Я вспомнил финна, давшего мне адрес г-жи З., и мысленно пожелал ему долгой жизни. Он оказал мне величайшую услугу. Я искал отдыха и исцеления в глуши соснового леса – и вот, к моим услугам целые сосновые боры. Мы проехали около десяти километров, и чем дальше, тем гуще становятся сосновые леса. Мы минуем несколько уютных дачек у дороги, но я с неудовольствием смотрю на гуляющих под светлыми зонтиками дачниц. Особенно противными показались мне два жирных дачника, греющихся на солнышке у опушки соснового молодняка. Около них играли в песке упитанные краснолицые дети.

Я мысленно спрашивал себя: «Зачем эти жирные здоровые люди приехали сюда? От одышки и ожирения аромат сосны не помогает. Зачем же они лежат тут и крадут у природы оздоравливающую энергию?.. Чем же будем оздоравливать себя мы, слабые люди?»

Я чувствовал, как во мне крепла ненависть к толстым и здоровым людям. К счастью, сытая и резвая финская лошадка умчала меня от жирных дачников, и я ничего дерзкого не успел сказать им. Кроме того, я чувствовал, что даже и путешествие по сосновому бору на расстоянии десяти километров способно мгновенно успокоить нервы. Я ощущал благотворное влияние аромата сосны и благословлял прошлое, настоящее и будущее финна, давшего мне «адрес» г-жи З.!

Вот я доехал до её дачи. А вот и сама г-жа З. Толстая особа лет шестидесяти, седая, с широким, одутловатым лицом. Шея её жирная, в складках; глазки узенькие, заплывшие; руки загорелые, красные. И я подумал: «Как благотворно влияет аромат сосны на человека! Ужели когда-нибудь и я буду такой же жирный?.. Но тогда я уеду из этих прекрасных мест, чтобы не поглощать напрасно жизнеобновительную энергию, так необходимую ослабевшим жителям обеих столиц и всех столиц в мире»...

Дачевладелица расхваливала мне две комнатки на верхнем этаже недостроенной дачи, а сама вытирала с лица пот и, видимо, волновалась. По-русски говорила она великолепно.

но. И это обстоятельство радовало меня. А когда я попросил г-жу З. показать мне расхваленные ею комнаты, она глубоко вздохнула, сидя в шведском кресле, и сказала:

– Не могу я пойти наверх... Сами посмотрите...

Я посмотрел на её толстые босые ноги, похожие на обруб-ки довольно толстых сосновых брусьев, и поверил ей: действительно ей должно быть трудно подниматься на высоту двадцати ступеней.

Комнаты мне понравились; восхитителен был и вид на озеро с высокой террасы, сквозь чащу сосновых веток. От дачи под гору вела широкая аллея, с клумбами, усыпанная ярко-красным песком. Внизу у озера виднелись постройки финской деревни: избы, сараи, бани. Дача ещё только отстраивалась. В маленькой конурке я видел плотничьи и долотные инструменты. Тут же стояли жестянки и ведра с какой-то пахучей тёмно-жёлтой краской. Это обстоятельство меня немного смутило, и я сказал г-же З.:

– А что, плотники очень рано начинают свою работу?

– Рано, – невозмутимо ответила она и потом, помолчав, прибавила, – на даче надо рано вставать и рано ложиться... Это очень здорово...

Она вкратце сообщила мне, что в юности жила в Швеции, где люди рано ложатся и рано встают, и что этот «шведский» режим куда лучше петербургского. Упомянула она также о гимнастике, о купанье и о прогулках на лодке. Выходило так, что под кровом г-жи З. всем упомянутым видам

физического воздействия на организм я должен следовать неукоснительно. Я мысленно согласился с этим.

Чтобы попасть в мои комнаты, мне необходимо было втащить свои чемоданы и портпледы на высоту лестницы в двадцать ступеней. На лестнице валялись стружки, обрезки досок, опилки, обрубки. И от всего этого пахло сосной. Придерживаясь за сосновые перила, я изнемогал под тяжестью чемоданов, но всё же утешал себя: «Здесь так чудно пахнет сосною!»

На верхней площадке лестницы я остановился и готовился к дальнейшему путешествию. А оно представилось мне не лишённым препятствий и даже риска поломать ноги или расшибить голову. Чтобы добраться до моих «комнат с мебелью», мне предстояло пройти через две другие комнаты без дверей и окон. В стенах зияли отверстия для будущих окон и дверей. Пола в этих комнатах также не было, а было то, что называется «чёрными» полами, т. е. был дощатый помост, залитый цементом. От одной «будущей» двери до другой были проложены не особенно широкие зыблющиеся доски. Со страхом я пробалансировал по ним, но всё же прошёл благополучно.

В моих комнатах двери и рамы белели свежей окраской и блестящими медными шпингалетами и крючками. Меблировка комнат состояла из двух больших столов, деревянной кровати, скамьи, табурета и маленького ночного столика. Мебель была сделана из хорошо выструганных сосновых

досок и не окрашена. Только как-то странно не гармонировали с остальной обстановкой три ветхих венских стула с замазанными и просиженными решётками и облезлый железный умывальник, без таза и кувшина.

Разложив вещи и осмотревшись, я, к моей радости, заметил, что и стены дома сделаны из толстых сосновых брёвен: на светлых ароматных стенах висели янтарные капли смолы. Это меня восхитило до слёз. А через полчаса я убедился, что мой новенький чесучовый пиджак и летние серые брюки замазаны сосновой смолой. Вначале это обстоятельство привело меня в уныние, но потом я быстро успокоился и снова восхитился. Я стал рассматривать мебель и убедился, что и столы, и скамья, и кровать «источают» как мироточивые предметы ту же целебную смолу. И я подумал:

«Какое счастье встретить такого милого человека как старый финн, давший мне адрес г-жи З.!»

Старый финн представлялся мне даже каким-то благодетельным посланцем хмурых небес туманной страны озёр. Я вспоминал его как божество и мысленно желал ему доброго здоровья и долгих лет жизни, главное – долгих лет жизни!..

«Какая чудная страна Финляндия!» – думал я, убедившись, что и моё пальто, и шляпа, и зонт также уже успели прикоснуться к какому-то мироточивому предмету, и на них блестели янтарные капли сосновой смолы.

«Я буду писать новый роман, а стены, столы, кровать

и скамья будут дышать ароматом соснового леса! Как это восхитительно! А потом и моя рукопись пропитается каплями смолы. А когда хмурый петербургский редактор будет читать моё произведение, на него пахнёт ароматом соснового леса, он непременно глубоко вздохнёт как на лоне природы, улыбнётся и благосклонно отнесётся к моей рукописи. Мой роман будет детищем соснового леса!..»

* * *

Надышавшись ароматом сосны, я, однако, почувствовал, что хочу пить и есть. Я спустился с лестницы и застал г-жу З. на прежнем месте, под тенью сосны, в шведском кресле.

Полуденное солнце палило немилосердно. Было душно, чувствовалась близость грозы, хотя на небе ни облачка. И лес стоял точно в сладкой дремоте, не напевая зеленеющей хвоей протяжной и однообразной мелодии, как это бывает даже при тихом ветре. Птицы тоже молчали...

Лицо г-жи З. покраснелось ещё больше. Расставив толстые ноги и сложив руки на животе, она дремала. По крайней мере мне показалось так: глаза её были полузакрыты, а около её толстых губ и мясистого носа носились докучливые мухи. Но она не дремала, и я заметил, каким пристальным взглядом она рассматривала меня. Она пила кофе. Возле неё стоял небольшой столик, на котором помещались кофейник, чашка, сливочник и белый хлеб на тарелке.

Я почему-то раскланялся и подошёл к полной даме. Она расширила глаза, спугнула с губ и носа мух, и в её взгляде я прочёл нечто холодно-вопросительное.

– Скажите, пожалуйста, – начал я, – а у вас есть прислуга, услугами которой я мог бы пользоваться?

– Прислуги не держим... Вон старик только, муж мой...

Движением головы она указала куда-то в сторону. Под навесом сарая я увидел дряхлого старика в суконном пиджаке и белых панталонах. Седая голова его была обнажена и нещадно припекалась солнцем. Старик чистил картофель, стоя на коленях у небольшой кадки.

– Муж мой – человек старый, – начала она. – Поутру будет носить воду, а может вы и сами будете брать в колодце?..

– Ну, а... самовар у вас есть?

– Самовара нет... Мы кофе пьём...

Быстро опорожнив чашку кофе, г-жа З. добавила:

– Съездите в Выборг, купите кофейник, стакан и всё, что надо... Может быть, и здесь в лавочках купите.

– Но дело-то вот в чём, – заявил я уже с большей решительностью, – пить и есть я хочу теперь... сейчас...

– А-а!.. Сейчас! – протянула она, и глаза её снова полузакрылись, а около её губ и носа опять закружились мухи.

«Чёрные мысли как мухи»¹... – почему-то промелькнули в моей памяти слова поэта. Мысли мои, действительно, были чёрные, а голод и жажда всё настойчивее и настойчивее

¹ А. Н. Апухтин «Мухи».

напоминали о себе.

– Нельзя ли хотя бы купить яиц, хлеба, молока? – спросил я противную толстую женщину.

Она лениво налила в чашку кофе, отмахнула мух и сказала:

– Молоко вам будут носить крестьяне, яйца тоже... Тво-рог есть, простокваша... В лавочке продают хлеб...

С равнодушием на лице она отрезала большой кусок белого хлеба и принялась пить кофе. Я стоял и не знал, что мне делать. А г-жа З. пережёвывала большим ртом вкусный хлеб и пила кофе. Немая сцена начала меня раздражать.

– Не хотите ли стакан кофе и хлеба? – наконец поняла она моё тайное желание и сказала это таким тоном, как будто я только что подошёл к ней.

Сильно повысив голос, она крикнула что-то старику по-фински. Тот оглянулся, с трудом поднялся с земли и потом медленно и волоча ноги подошёл к супруге.

– Это – муж мой! – сказала она.

Я поклонился, но старик даже и не взглянул на меня, хотя шепелявым голосом прошептал: «huvää päivää»². По-прежнему медленно он двинулся куда-то в куст ольшняка, и только теперь я заметил за густыми ветвями небольшой двух-оконный домик с террасой.

– Стул возьмите на терра-с-а-а, – вытянула она последнюю букву.

² здравствуй – фин.

Я перегнал медленно движущегося старика. Шаги мои напугали его, он вздрогнул и осмотрелся. Вернувшись с террасы с новеньким венским стулом, я поместился против холодно-любезной хозяйки и ждал, – нетерпеливо ждал хлеба и кофе. Минуты через три старик принёс, наконец, стакан, а ещё через минуту я уже пил кофе с хлебом.

Моя избавительница молчала и сидела с прищуренными глазами. Я начал банальный разговор вновь прибывшего дачника: расхваливал сосновый лес, говорил о чистоте воздуха, прославлял хорошую погоду. Г-жа З. пожаловалась на жару и почему-то добавила:

– Хозяйство у нас маленькое... Печку не топим... Пьём кофе...

Потом я, действительно, убедился, что супружеская чета З. пьёт кофе весь день: утром, в часы завтрака, обеда и ужина и даже поздно ночью. Иногда свой стол они разнообразят яичницей, ветчиной и простоквашей.

Потом она спросила меня, женат ли я, и какова моя профессия. Моя профессия её, по-видимому, с чем-то примирила или заставила переменить на меня точку зрения. Выслушав о моём намерении засесть за роман в глуши Финляндии, она даже повеселела и поспешила сообщить, что русская интеллигенция вообще ей нравится, но русский народ...

И потом она с негодованием рассказала, что «русские мужики» продают в Финляндии водку, делают это потихоньку, и пьянство среди финнов разрастается. О дачниках она ото-

звалась пренебрежительно. Из дальнейшей беседы я узнал краткую биографию г-жи З. Родилась она в Швеции, где и училась. Выйдя замуж за г-на З., специалиста по шлифовке гранита и мрамора, переселилась в Петербург, где и прожила тридцать восемь лет. За эти годы она так много накопила ненависти к русским, что оставила Россию без всякого сожаления. Муж разделял чувства своей супруги, и они порешили умереть в Финляндии, купили участок земли и занялись постройкой дач. О Швеции г-жа З. говорила с особенной теплотой и даже заявила мне, что на предстоящих выборах в депутаты сейма она, быть может, примкнёт к партии шведоманов.

– Вы будете участвовать в выборах? – неожиданно для себя спросил я.

Признаюсь, я не сразу осилил мысль, что г-жа З., эта растолстевшая особа, могла ещё вмещать в своё грузное тело стремление к политической деятельности. Гордо окинув меня взглядом, она ответила:

– А как же!.. – и добавила. – У нас в Финляндии и женщины голосуют!..

Разговор о Государственной думе г-жа З. поддерживала неохотно. Вообще заметно было, что она весьма слабо интересуется всем русским и, кроме негодования на русских, накопившегося за все тридцать восемь лет, ничего из России не вывезла.

Исчерпав политическую тему, мы помолчали. Голод

и жажда плохо утолились стаканом кофе и куском хлеба. Я снова свёл разговор на материальную тему и попросил г-жу З. посоветовать мне, как устроиться с обедом. Она сказала:

– В деревне живёт г-жа Р.... Я пошлю к вам её вечером...

* * *

Что-то надломленное, больное и жалкое было во всей фигуре старика З. Следы его тяжёлой, изнурительной профессии, казалось, навсегда отложились на нём печатью истощения, надломленности и покорного безволия. Тридцать лет он был простым каменотёсом и только к старости счастье ему улыбнулось: он достиг высших степеней в своей профессии и сделался шлифовальщиком. Но и в этот счастливый период его поджидали новые профессиональные болезни: гранитная и мраморная пыль, достаточно насытившая его лёгкие за предыдущие годы, теперь не пощадила его глаз. Он всегда как-то тихо и скрипуче покашливал и жаловался на болезнь глаз. Годы дополнили недомогания, и он стал «тут на ухо». Все свои болезни он характеризовал какими-то двумя финскими словами, смысла которых я так и не мог выяснить ни в беседах с переводчиками, ни в лексиконе. Весьма возможно, что эти слова – какая-нибудь финская пословица или поговорка. Они так и остались для меня тайной и как будто символизировали собою тайники душевной жизни.

ни старика, безропотного раба своей супруги.

Помнится, это было в первый день моего пребывания в недостроенной даче г-жи З.

Я счищал с платья янтарный капли сосновой смолы и слышал скрип ступеней лестницы. Меня привёл в недоумение этот скрип. Я слышал шаги человека, тяжёлое дыхание и какое-то скрипучее кряхтенье. Человек этот поднимался по лестнице и точно нёс на себе непосильную тяжесть. Я вышел, чтобы посмотреть, что делается на лестнице, и увидел старика.

Медленно переступая со ступеньки на ступеньку, он втаскивал на лестницу ведро воды и при этом отдыхал на каждой ступени, держась руками за перила, обливаясь потом, тяжело дыша, покашливая и кряхтя. Бывший каменотёс, вочавший когда-то тяжёлые гранитные и мраморные глыбы, теперь изнемогал под тяжестью ведра с водою! Я спустился с площадки, взял у старика ведро с водою, а он как-то странно посмотрел на меня и при этом что-то прошептал. В этот момент я впервые услышал и те два таинственных слова. Он даже улыбнулся и грузно опустился на лестницу.

Вернувшись с пустым ведром, я попросил старика приносить мне воду только до первой ступени лестницы, обещая ему, что наверх я буду вносить ведро сам. Впоследствии я отказался и от этой услуги бессильного дачевладельца и ходил к колодцу сам.

– Hyvin! Hyvin!³ – прошептал он тихим и каким-то точно трясущимися голосом и сказал ещё какую-то фразу, из которой я уловил только несколько слов: heikko⁴ и kehnosti⁵.

И я опять услышал те два таинственных слова.

Со стариком мы сошлись и познакомились скорее, нежели с его супругой. Он недурно говорил по-русски и хотя и переполнял свои фразы финскими словами, всё же я понимал его речь. Заметил я только одну странность: старик совсем не говорил со мною в присутствии супруги. Потом я узнал от г-жи Р., что г-жа З. вообще запрещает супругу пускаться в разговоры с русскими.

Но, несмотря на это запрещение, мы всё же часто беседовали с ним. О себе он избегал говорить и только однажды пожаловался на жену, назвав её жадной женщиной. Как оказалось потом, г-жа З. копила деньги на поездку в Швецию и избегала расходов, без которых можно обойтись. С этой целью она не держала прислуги, пользуясь услугами мужа, скудно питалась, держала впроголодь старика и даже целыми неделями не сменяла белья и платья, лишь бы избежать расходов. Я не знаю, как это мирилось с теориями шведского воспитания и заморской гигиеной, о которой г-жа З. всегда говорила так много.

Как-то раз я сказал г-же З.:

³ Хорошо! Хорошо! – фин.

⁴ слабый – фин.

⁵ худо – фин.

– Ваш муж очень стар, ему трудно работать...

Она внимательно посмотрела в мою сторону и сказала:

– Умирать мы сюда приехали... Какая же работа!?

Ему семьдесят три года...

– Тем более! Отчего бы вам не нанять прислуги!?

Я потом очень сожалел об этой нечаянно сорвавшейся с языка фразе: она разобидела мою хозяйку.

– Уж извините! – прошептала она, разводя руками и сверкнув глазами. – В моём хозяйстве мне советов не надо.

Она прикусила губы и отвернулась. Я сконфуженно молчал.

– Мы всю жизнь сами на себя работали и прислуги не держали, – продолжала она, но уже тоном примирения. – И вам бы, молодой человек, надо так же жить... А вы вот приехали – и сейчас вам подавай прислугу...

Это замечание показалось мне не лишённым оригинальности, и я принялся уверять г-жу З., что охотно буду делать всё для себя сам, без помощи прислуги. Моё решение, по видимому, понравилось моей собеседнице, и она сказала:

– Работать очень полезно, здорово... Не стыдитесь ни заступа, ни топора. Без заступа могилы не выроешь, без топора – гроба не сколотишь!..

Афоризм г-жи З. понравился мне, и я ещё раз уверил её в своей готовности к физическому труду. Она улыбнулась и сказала:

– У меня вон огород есть... Поливайте утром и вечером...

Дорожки в саду делайте, сучья собирайте в лесу...

С этого дня я приступил к поливке огородов, до обеда ходил по лесу и собирал сучья и валежник. Однажды принёс даже большую сухую ольшину, вывороченную с корнем, и тем окончательно завоевал симпатии дачевладельцы. В белые ночи, когда дневная жара спадала, я снимал в саду дёрн для будущих дорожек, а г-жа З. давала мне указания и при этом всегда добавляла:

– Работать очень полезно... Работать очень полезно.

* * *

Вечером, при закате солнца первого дня пребывания моего в сосновом лесу, ко мне пришла г-жа Р. Это была ещё нестарая женщина, с умными серыми глазами и открытым лицом. Одета она была в бумазейное платье и тёмный жакет. Волосы её были гладко зачёсаны, обрамляя крутой лоб. Глядела она внимательно, и зоркие глаза её мгновеньями загорались. Говорила она тихим вкрадчивым голосом и как-то особенно подчёркивала последние слова фраз, как будто желая придать своей речи бо?льшую убедительность.

Постучавши в дверь, она вошла только после того, как я сказал: «Пожалуйста!» Она вошла медленно, представилась мне и осмотрелась по сторонам.

– Г-жа З. говорила, что вы хотите иметь обед?

Я попросил её сесть. Она медленно опустилась на стул,

облокотилась локтем в край стула и в ту же секунду отдернула руку. Но, увы! Рукав её жакета и рука были уже замазаны смолою.

– Ах, Господи! Смола! – воскликнула она. – Новый стол!

Она сняла с рукава каплю смолы, замазала пальцы и, вынув платок, принялась стирать смолу с руки и с рукава.

При появлении г-жи Р. я стал испытывать какую-то особенную неловкость. Я не знал, как держать себя с нею, а она так пристально всматривалась в меня серыми умными глазами. Моя гостья, между тем, продолжала:

– Только... я должна вас предупредить, что я... что у меня стол вегетарианский... Я, по убеждению, не могу убивать животных...

– Вегетарианский?! – воскликнул я в ужасе.

– Да... Кушанье из молока, яиц... Ну, иногда рыбы... Я могу разрешить себе... Мой муж на воскресенье приезжает из Петербурга, рыбу ловит...

Далее она поспешила отозваться с похвалою о вегетарианском столе и говорила о том, как это полезно для здоровья: жить в сосновом лесу, кушать черничный суп, молоко, яйца, простоквашу и изредка позволять себе питание рыбой.

Я вспомнил проповедь г-жи З. о полезности физического труда и думал о том, как же я буду возмещать затраченную энергию черничным супом, и что из меня получится после летнего отдыха при таких условиях?

Условившись относительно вегетарианского стола, я ду-

мал, что беседа наша кончена. Но, как оказалось, г-жа Р. была особа разговорчивая и даже больше – она была пропагандистка самых разнообразных учений.

Бесцеремонно осмотрев мои книги, сложенные на краю стола, она воскликнула:

– Всё – светские! А Евангелия или Библии у вас нет?

– Нет, – отвечал я.

– Как же это без таких книг?! И сочинений Толстого у вас нет?

– Нет. Но почему же у меня должны быть Евангелие, Библия и сочинения Толстого? – спросил я и дал ей понять, что её допрос не очень-то мне нравится.

Она не обратила внимания на моё замечание и спросила:

– Вы – христианин?..

– Да.

Не давая мне проронить ни слова, г-жа Р. быстро протараторила отрывок из какой-то проповеди, в которой, по-видимому, говорилось о связи Евангелия и Библии с учением Толстого. Говорила она и о том, как нехорошо быть христианином и не иметь в числе настольных книг Евангелия или Библии.

– Лет семь или восемь тому назад ездила я в Ясную Поляну к Толстому, – вдруг неожиданно выпалила г-жа Р.

– Вы ездили к Толстому? – почему-то с изумлением спросил я.

– Да... и знаете ли... книги Толстого следует читать...

Она каким-то глухим, вдохновенным голосом произнесла несколько фраз, быстро поднялась, крепко пожала мне руку и, пригласив на завтра на обед, ушла.

* * *

На другой день в два часа дня я пошёл к г-же Р.

Интересная «дама-крестьянка», как впоследствии прозвали мои знакомые г-жу Р., встретила меня с мягкой улыбкой на лице, долго извинялась за некоторую неряшливость комнаты, куда мы вошли, и провела меня на террасу.

Кто-то из путешествовавших по Финляндии заметил, что финские крестьяне любят жить «в нескольких комнатах». Это наблюдение подтверждается действительностью. Жилища финских крестьян в большинстве случаев состоят из двух-трёх и даже большего числа комнат. Исключение составляют безземельные, торпари и так называемые *tuonamies*⁶, – сельские рабочие, ютящиеся в хатках в одну комнату.

Г-жа Р. – из зажиточных крестьян. Её муж – владелец дворового участка, *isäntä*⁷. В его уютном домике четыре комнаты и открытая терраса в сад с яблонями, рябинами, крыжовником и смородиной. Первая от входа комната – кухня, опрятная, с плитой и с половиками на полу. Вдоль стен длин-

⁶ нахлебники – фин.

⁷ хозяин – фин.

ные скамьи, шкафики с посудой и утварью и большие столы. Две следующие комнаты, целомудренно скрытые от взора посетителей – для семьи; четвёртая – приёмная, с мягкой мебелью и кисейными гардинами на окнах. Здесь шкафы с посудой, две этажерки с книгами и швейная машинка. На стенах – плакаты с духовными изречениями. Никаких изображений Божества в переднем углу я не заметил: крылатые фразы и афоризмы из духовных писаний, Библии и Евангелия, очевидно, достаточно символизировали собою представление о Боге.

Хозяйка провела меня на террасу, где уже был накрыт стол, похвасталась садом с яблонями, ветви которых склонялись к земле от тяжести зреющих плодов, и начала подавать обед.

Одета она была в тёмное платье с крахмаленным воротничком и рукавчиками. Поверх платья был надет кокетливо сшитый передник, с вышивками и оборками. Я только в Финляндии видел такие передники – национальное украшение женщин страны озёр. Передник молодил г-жу Р., но я не думаю, чтобы она заботилась об этом.

Первый пробный обед остановил внимание моего желудка, и я не скажу, чтобы это было на пользу хозяйки. На первое блюдо она подала суп из черники, обильно произрастающей в финляндских лесах. Тёмная жижица, приправленная сметаной, годилась скорее на третье, но памятуя о том, что г-жа Р. – вегетарианка по убеждению, я самоотвержен-

но съел этот суп. На второе моя новая кормилица подала двух небольших окуньков, зажаренных в сметане, и картофель «в мундире». Третье блюдо – пирог с черникой и молоко, и наконец в виде лакомства мне была предложена тарелка простокваши.

Не скажу, чтобы обед этот произвёл на меня надлежащее впечатление, но зато он в достаточной мере был одобрен рассуждениями г-жи Р., что доставило мне большое удовольствие.

Уставив всеми блюдами стол, г-жа Р. поместилась против меня с каким-то вышиванием в руках и начала свою длинную речь. Как любезная хозяйка прежде всего она познакомилась со мной с подробностями собственной жизни.

Муж её, как оказалось, живёт в Петербурге, служа в каком-то складе сельскохозяйственных орудий, и появляется дома только по воскресеньям. При этом целые дни он проводит на озере, потому что большой охотник до рыбной ловли. Истреблённые мною окуньки – плод его увлечения.

Муж г-жи Р. – владелец геммоны, т. е. дворового участка в 5½ десятин луга и пахотной земли. Всю эту землю, за исключением огорода, г-жа Р. сдаёт в аренду торпарю, живущему у леса. Кроме денежной платы за аренду, торпарь обязан вырастить на огороде г-жи Р. необходимые в хозяйстве овощи. Кроме того, на его же обязанности – обеспечить дом топливом на целую зиму из лесов участка, принадлежащего г-ну Р.

Кроме торпаря с его семьёй, в распоряжении г-жи Р. состоял ещё один человек, loinen⁸. Это – жалкое одинокое существо, седой, сгорбленный человек лет пятидесяти. Звали его Григорием Мекинен. За право пользования углом в кухне Мекинен обязан был выполнять некоторые работы при доме. Он колол дрова, мёл двор, носил с озера воду для поливки огородов, а иногда даже доил сытых коров. Жил Мекинен случайными заработками у соседних помещиков, на железной дороге и т. п.

Вместе с г-жой Р. жили две её дочери: Айна, семнадцати лет, и Серафима – пятнадцати. Обе они обучились кройке и шитью под руководством матери и, как выразилась последняя:

– Теперь уже могут брать работу на дом... То есть зарабатывать деньги, – пояснила она.

Вводя меня в курс своей интимной жизни, г-жа Р. прерывала свою речь замечаниями:

– Кушайте... кушайте, пожалуйста... пирожка-то с черникой... Молочка ещё не угодно ли?..

Я кушал, но чувствовал, что сколько ни старайся, сытым всё же не будешь. И я в душе проклинал всех вегетарианцев вместе взятых и их обеды.

Г-жа Р., впрочем, не заслуживала этих проклятий.

Она показалась мне очень интересной женщиной. Всё больше и больше она разоблачала своё духовное содержание.

⁸ постоялец – фин.

Я узнал, что за десять лет своей деятельности в роли офицера «Армии спасения», в...ском приходе, она приобрела более двадцати прозелитов и, несмотря на мигрени, от которых страдала, не оставляла своей любимой работы.

– Только, скажу я вам, – жаловалась она, – трудно у нас заниматься всем этим!.. Раньше свободнее было, а теперь... Русскому правительству не нравится наша работа; то же и со стороны финских властей... Не скажу, чтобы было притеснение, а всё-таки... У нас ведь есть ещё другие религиозные общества... Вот, например, общество «Свободная церковь»... Члены его часто разные должности занимают... Ну и... теснят немного нас...

– Как же так? – изумился я. – Общество называется «Свободной церковью» и противоречит своим основам? Раз одни свободны, предполагается свобода и для других?..

Г-жа Р. пристально посмотрела мне в глаза и ответила:

– Что же, что притесняют! Ведь и они хотят распространять своё учение!..

– Стало быть, вы оправдываете всякие средства пропаганды и агитации?

– Ну, а то как же!.. Мы на них не сердимся! Против их стеснений у нас есть свой ответ – наше учение...

Она выкрикнула последнюю фразу твёрдым голосом, и глаза её сверкнули. В эту минуту приятно было смотреть на её вдохновенное лицо, с выражением какой-то особой гордости и самоуверенности.

– По уставу мы не можем насильно навязывать своего учения... Мы только поучаем... Религия для нас тоже не препятствие. Если бы вы вздумали вступить в члены нашего союза, я не спросила бы вас, как вы веруете...

Теперь она говорила спокойно, но прежнее выражение всё ещё не исчезало с её лица.

– А ваш муж – тоже член союза?

– Нет... Мы с ним никогда не сойдёмся во взглядах...

– Ну, а ваши дочери?

– Я думаю... потом они примкнут... Я же говорю, мы не можем вовлекать насильно!..

Как мне показалось, в её голосе прозвучала даже нотка печали. Глядя на энергичное лицо г-жи Р., видя её склонность к собеседованию и способность горячей защиты своего учения, можно думать, что она, действительно, сожалела о наличии пункта устава, запрещающего «несильное» привлечение сторонников.⁹

⁹ В книге «Финляндия», вышедшей в 1898 г. под редакцией Д. Д. Протопопова, читатель найдёт подробное описание деятельности «Армии спасения» и общества «Свободная церковь»; всё же я считаю нелишним привести и здесь некоторые краткие сведения. Религиозное общество «Свободная секта» основано в 1878 г. лордом Редстоком в Лондоне. Учение это распространилось через Швецию в Финляндию и объединило последователей Редстока под именем «Свободная церковь». Общество это не имеет ввиду учреждения особого церковного союза, считая себя партией реформ в церкви. Эти реформы сводятся к следующему: упрощение таинства причастия, предоставлением каждому мирянину права совершать этот обряд; свобода крещения детей или оставления их без крещения; отделение церкви от государства и принадлежность к приходу лишь истинно верующих. Основа общества – приверженность почве библейского и апо-

После обеда г-жа Р. пригласила меня в свою гостиную.

Порывшись в библиотеке, она показала мне свои союзные издания – брошюры и листки на финском и шведском языках.

– А вот это книги нашего писателя Арвида Еренфельда...

Он – последователь Толстого.

Я рассматривал книги толстовца страны озёр. Это были романы: «Isänmaa», «Ihmiskohtaloista» и «Puhtauden ihanne»¹⁰.

Она с довольством в глазах смотрела на книги и говорила:

– Вот и у нас есть свой Толстой!..

После этого визита в продолжение двух недель я ежедневно виделся с г-жой Р., и интерес к этой женщине во мне обострился. Стороной я узнал кое-что о её деятельности. Судя по рассказам, она весьма скромного о себе мнения.

стольского учения. С возникновением в Финляндии группы членов «Армии спасения», «Свободная церковь» выработала более сплочённые организации. Часть членов последней примкнула к «Армии спасения». «Армия спасения» возникла в Финляндии в 1888 г. Путь её распространения из Англии – также через Швецию. В начале деятельности организация издавала свою газету и устраивала публичные шествия членов. В настоящее время члены «Армии спасения» не могут устраивать шествия, да и собрания их пользуются только относительной свободой. В 1898 г. организация состояла из 32 отрядов, с 1 500 членами. Её собрания сопровождаются пением гимнов под музыку; пение чередуется с чтением Библии и других духовных книг. Большинство членов ведут борьбу с народным пьянством. Учреждены так называемые «Трущобные станции» как организации взаимопомощи бедняков. В Гельсингфорсе имеются ясли для детей рабочих. Члены «Армии» распространяют массу своей литературы.

¹⁰ «Родина», «Судьбы человечества», «Идеалы чистоты» – фин.

Как оказалось, она весьма много потратила энергии в борьбе с пьянством. Можно насчитать в округе сотни семейств, где она являлась в трудные минуты жизни нужным человеком. Предполагала она основать в своём приходе и «Трущобную станцию», но это осуществить ей не удалось.

Россию она называла страной христианской и сожалела, что русские плохо воспринимают учение «Армии спасения».

– У вас так много бедных и погибающих людей, – говорила она. – Вот бы и надо распространять наше учение!..

Кузьма из Чембара

Часто в белые ночи я выходил на дорогу и на гребне высокого каменистого холма любовался синею далью ровной лесной долины. На горизонте в лёгкой голубоватой дымке виднелось море. Издали оно казалось мне тихим, уснувшим, пустынным...

Может быть над его гладью в синеве воздуха купаются белые паруса, но я не мог рассмотреть этих красивых крыльев яхт и лодок финляндских рыбаков. Когда проходили большие военные и торговые пароходы, над морем темноватой густой кисеей вытягивался дым. Я представлял себя на палубе этих пароходов и думал о тех неведомых мне людях, которые уплывают в чужие страны или возвращаются на родину... И странно, какая-то тихая грусть начинала точить сердце.

Кисея дыма рассеивалась и сливалась с окраской далёкого горизонта, пароходы уходили, а грусть, тихая и сладкая, оставалась со мною. Мысли неслись к родным берегам и тонули в далёкой синеватой дымке.

Я смотрел на лесную долину с ярко-зелёными кусками пахотных полей и лугов. Ближе сereли тесовые кровли изб и сараев финляндской деревушки... И этот лес, и пашни, и луга, и серые кровли казались мне вырванными из живого пейзажа родной мне губернии и перенесёнными под облачное

небо Финляндии. Кто забросил их сюда, в страну озёр? Кто утопил их в волнах седых туманов?

Как-то раз до слуха моего донёлся с полей зычный и тягучий окрик. Далёкое эхо повторило неясный и плохо понятный мне окрик призыва, но я не мог пойти на этот призыв. Кто-то звал кого-то... Но никто не призывал меня!.. Тихая, немая белая ночь смотрела мне в глаза, и опять отчего-то становилось невыносимо грустно...

На гребне холма – невысокая, но широкая стенка, выложенная из тяжёлых овальных гранитных камней. Стенка отгораживает пахотное поле от дороги. Я любил одиноко сидеть на этих камнях, смотрел в сторону моря и вспоминал тёплые, тихие вечера родины...

За последние дни я стал замечать, что на тот же кремнистый холм и к той же каменной стенке стал приходить и ещё один скучающий одинокий человек... Это был парень лет 17–18, белобрысый, длинноволосый, одетый в пиджак, грязно-серые штаны, запущенные в большие сапоги, и в картузе. Я наблюдал нового посетителя холма издали и задавался вопросом: кто он?

Он усаживался на крайних камнях стенки, подпирал руками голову и смотрел куда-то вдаль. И мне казалось, что и он смотрит в сторону моря, за которым незримо для меня утонули в синеве и пахотные поля, и лесные холмы родной мне губернии.

Нередко к одинокому юноше подходили «пойги»¹¹. Шумной толпой они останавливались около одинокого юноши, говорили с ним, смеялись и, как мне казалось, звали его куда-то... Пойги уходили. Он оставался одиноким, снова подпирал голову руками и снова смотрел вдаль...

Одинокий юноша отличался от своих товарищей костюмом, одиночеством и длинными волосами, и я нередко думал: не безумный ли это юноша? Почему он в его годы склонен к одиночеству?..

Как-то раз я заметил, что одинокий юноша грыз семечки и при этом с каким-то особенным ожесточением отплёвывал скорлупу. Так умеют грызть подсолнухи только русские, и я сказал себе: «Он – русский»... И я не ошибся.

Как-то раз, когда небо белой ночи было замешано серыми густыми облаками, а море исчезло за сеткой ливня отдалённых синих туч, я снова увидел сидящим на камнях юношу в картузе. Как и всегда, он истреблял подсолнухи и с ожесточением отплёвывал скорлупу.

Резкий, хотя и тёплый ветер гнал синие тучи на нас. Долина потемнела. Потемнела узкая полоска зари заката. Вдали по временам грохотал гром. Было душно, как бывает перед грозой. Я любовался вспышками молний в стороне моря, смотрел на быстро идущие облака над головою, и снова знакомая мне тоска по родине щемила сердце.

До меня донеслись отрывки песни, в которых слышалась

¹¹ фин. *poikia* – так называются в Финляндии юноши.

какая-то отчаянная грусть. Парень в картузе пел:

«Разлука, ты-ы, разлука –
Чужа-а-я сто-о-рона...
Никто нас не-е разлучит –
Ни солнце, ни луна»...

После паузы юноша пел тот же куплет... Снова пауза, и снова те же слова. Очевидно, он только этот куплет и знал из всей длинной и тягучей песни родины.

И мне казалось – резкий ветер моря принёс ко мне эту грустную русскую песню с задумчивых долин родины, или из рабочих кварталов большого города, или с чёрных лестниц петербургских домов... Столичная прислуга любит петь эту песню и всегда поёт с каким-то особенным душевным надрывом. Большой туманный и холодный город кажется тогда чужим, а певцы печальной песни – заброшенными на чужбину.

Меня потянуло к одинокому юноше, певцу грустной песни, и я двинулся вдоль каменной стенки. Я остановился около него шагах в десяти. Он покосился на меня светло-голубыми глазами, оборвал недопетую песню и опять принялся грызть подсолнухи.

– А что, господин, мотри-ка, вон за этим морем русская земля?

И он указал вдоль моря, за кисеёй дождя.

– Как же, русская... Там – Финский залив, а за ним – Пе-

тербургская губерния...

– А Петербург там? – спросил он, указывая рукою ещё левее.

– Да... Только ещё левее... Вон там!..

Он что-то соображал и грыз подсолнухи.

Молодое, но бледное и худощавое лицо с втянутыми щеками, шея загорелая, руки тёмные от загара и работы. Юноша показался мне нездоровым. В глазах его отражалась какая-то муть, точно он только что вынес на собственном горбу тяжёлые камни изгороди и теперь присел, чтобы передохнуть.

Я предложил ему папиросу, и мы разговорились. Почему-то, в начале беседы, он сказал мне:

– Вы не подумайте господин, что я – чухна!.. Крещёный я, настоящий хрестьянин из Чембарского уезда Пензенской губернии... И зовут меня Кузьмой...

– Как же ты попал сюда из Чембара-то?..

И его неуклюжая, путанная речь запрыгала, как прыгают колёса экипажа по каменистой дороге, у которой мы познакомились.

История начала столичной жизни Кузьмы несложна. Весною он, гонимый нуждою и безработицей, покинул свой Чембарский уезд и добрался до Петербурга, отыскал дядю, который служил на какой-то лесной бирже. Дядя не оправдал его надежд: племянника пожалел, но не приложил стараний устроить его.

– Бился, бился я в Питере-то, искалши работу... Акромя как крестьянскую работу, ничего я не могу делать – не обучен!.. А дядя-то и говорит: «Чего, – говорит, – ты, Кузьма, слоняешься как курица перед вечером!? Ходи бодрей да и спрашивай у каждого двора, нет ли, мол, работы? Давайте работу – руки-ноги есть!» Пошёл я этак-то и повстречался с Петрухой Силиным в чайной. А тут и увёз он меня сюда, в Чухну в эту самую, и стал обучать по печной части. Ходим теперь по дачам да по крестьянам и печи выкладываем...

С блеском в глазах и с сознанием собственного достоинства говорил Кузьма о своей грамотности и при этом добавлял:

– Осенью на завод определяюсь... А то что этак-то!.. Печи-то выкладывать! Финские ребята зовут меня на ихний завод... Да, видишь ты, господин, в Росею-то уже очень мне захотелось... Опять же...

Он не закончил какой-то для него важной фразы, иско-са посмотрел на меня, как будто о чём-то соображая, и снова принялся за подсолнухи, держа между пальцами потухшую папиросу. Потом он зажёл спичку, но налетевший ветер потушил пламя. Он воспламенил вторую спичку, но и она потухла. Ветер чужой стороны, по-видимому, был враждебно настроен по отношению Кузьмы. Весь перегнувшись и уткнув лицо под полу пиджака, третьей спичкой он, наконец, зажёл окурочок и сказал:

– Спички здесь хороши... и дешёвы...

Я был рад за Финляндию: хорошо, что страна озёр хоть своими спичками до некоторой степени примиряла с собою чужестранца.

– В Росее спички дорогие, – сообщил он мне и снова уставился пристальными глазами в ту сторону, где в сумраке ночи потонула его родина.

Над холмом и над дорогой вытянулись тёмные, тяжёлые облака. Блеснула молния, где-то близко загрохотал гром. Густой, тягучий удар как будто опустился на землю и замолк. Накрапывал крупный и редкий дождь. Мы с Кузьмой распрощались.

* * *

В течение следующей недели, по ночам, мы часто сходились с Кузьмою у каменной стенки, откуда были видны берега родины, и беседовали. Я снабжал Кузьму папиросами, он угощал меня российскими подсолнухами, и дружба наша укреплялась.

Вскоре я познакомился и с «хозяином» Кузьмы. Это был лохматый и бородатый мужичонко с обильными веснушками на лице. В открытых серых глазах его почти всегда играла какая-то лукавая усмешка. Ходил он скрючивая спину и как будто неуверенно ступая кривыми ногами, и при этом топал тяжёлыми и большими сапогами по земле как по полу. Зарабатывал российский печник в Финляндии очень хоро-

шо, на своё будущее в чужой стороне смотрел с оптимизмом и говорил:

– Второй год вот собираюсь перевезти жену сюда, да всё на старине с делами не управлюсь... Пять человек нас, братьев-то, с разделом-то всё раздоры и идут...

Кузьма относился к своему «хозяину» двойственно: говоря с ним, льстил ему, а за глаза бранился:

– Аспид этот, Петруха, живодёр! Семьдесят пять копеек в день платит, а разве это подёнщина по тутошним местам!?. Опять же и кормит-то плохо. Каждый день селёдка с хлебом да чай...

– Скуп, что ли, Петруха-то?

– Не скуп он, а так что-то... Всё говорит, что, мол, вот уродится молодая картошка – будем картошку есть. Уродилась картошка, а он всё селёдкой да хлебом кормит. Уж и опротивела же мне эта селёдка! Только пьёшь гораздо, а в брюхе пусто!

Он немного помолчал и добавил:

– Хорошо зарабатывает Петруха! С весны-то сотни три домой почтой послал. Из Новгородской губернии он... Домой деньги-то посылает, а мне семьдесят пять копеек платит! А придёт воскресенье – в Питер едет, гуляет там в трактирах и у девочек бывает... Хозяин наш, чухна, у которого на квартире, всё корит его. «Женатый, – мол, – ты, Петруха, человек, а по непристойным домам шляешься!» А Петруха – ему хошь бы что!.. «Надо, – говорит, – и мне поразгулять-

ся!» Угостит Петруха чухну водкой – и давай они песни петь! Петруха по-своему, по-новгородски поёт, а чухна свою во-лынку затянет!.. Смех один!.. Казёнка-то здесь не продаётся, а чухна водку страсть как любит! Вот им и хорошо с водкой-то!..

Подсыпав мне в ладонь новую щепотку подсолнухов, Кузьма продолжал:

– И чудной народ здесь живёт! Водку любит, а водки нет. Продают тут тихонько водку, наши же русские, а разве купишь её – дорого! Петруха бранится! «Зачем, – говорит, – я поехал бы в Питер, коли бы тут водка продавалась как в Ро-сее?..» Купи-ка её, матушку! За бутылку-то рубль али де-вять гривен требуют! Да и то, мотри-ка, водой разбавлена! А без водки Петруха никак не может жить!..

– А тебя он угощает водкой-то?

– Стаканчик поднесёт, а остальное всё с чухной вылакают!

Он сказал это с сожалением в голосе. По-видимому, он и сам скучал по российской водке, и в этом отношении по-ходил на Петруху.

Как-то раз, когда мы с Кузьмой мирно беседовали и грыз-ли подсолнухи, с тёплым дыханием долины на холм принес-лись крикливые и визгливые звуки гармоники. Играли где-то в лесу, или в узких улицах деревушки, или около груп-пы дач, расположившихся у подножия холма. Назойливые и бесшабашные звуки гармоники с какой-то дерзкой настой-чивостью врываются в идиллическую тишину вечера с дого-

рающей зарёй, и мне было жаль задумчивой тишины лесной долины. Играли излюбленную русскими мастеровыми песню, и звонкие голоса гармоники то прыгали и точно неслись к нам с весёлым хохотом, то понижались и подползали к холму с каким-то затаённым весельем. Я не знал, как называлась эта песня, но что она была чисто-русская, народная – в этом я не сомневался. Не сомневался в этом и Кузьма. Насторожив слух и жадно всматриваясь в глубину долины повеселевшими глазами, он внимательно слушал песню и даже перестал грызть семечки.

– Что это за песня? – спросил я.

– Кто её знает. У нас в Чембаре не играют...

– А ведь русская песня-то?

– Ру-у-сская!.. – протянул он, и глаза его блеснули. – Где же чухнам такую песню сыграть! У них и гармоник-то нет!.. Чёрт их знает, что за народ! Ни на гармониях не играют! Ни песен не поют!.. Хозяин наш, чухна-то, выпьет и затянет какую-то песню, а что это за песня – Бог знает!..

Он говорил лениво, а сам всё вслушивался в мотив песни. Наконец, он слез с каменной стенки, стряхнул с пол пиджака табачный пепел и сказал:

– Пойду, посмотрю – не наши ли русские ребята играют?..

И он ушёл со счастливым выражением в лице. Точно он пошёл навстречу счастью, притаившемуся в голубоватых волнах тумана, выползавшего из леса на луга и на огороды финской дереvушки.

На другой день я спросил Кузьму:

– Ну, что – узнал, кто играл на гармошке?

– Видал, – ответил он, но по выражению его лица я понял, что это открытие не очень-то его обрадовало. – Кучер это играл. Наш русский человек у каких-то господ кучером служит... Подошёл я к нему, а он у ворот дачи сидит да играет. Встал я этак шагах в пяти от него, а он со злом так говорит: «Ну, проходи, чухна, что буркулы-то вылупил!? Не велит барин останавливаться у ворот-то!» – Я говорю: «Какой я чухна? Из Чембара я, из Пензенской губернии, и человек крещёный»... А он играет себе да играет... Постоял я так немного, да и пошёл спать...

Последние слова Кузьма произнёс с нескрываемой грустью в голосе.

В следующие два дня Кузьма изменял мне, к каменной стенке не выходил. Наконец, на третий день, – это было в субботу, часу в двенадцатом ночи, – я увидел его в обществе поёг. Они поднимались на холм, дымили папиросами и о чём-то серьёзно рассуждали. Проходя мимо меня, Кузьма снял картуз, улыбнулся и махнул рукой куда-то вперёд: «мол, идём туда!..» Провожая молодёжь глазами, я задавался вопросом: на каком, собственно, языке изъясняется с ними Кузьма? А потом я пришёл к выводу, что все трудящиеся всех стран говорят на одном, им понятном языке. Как они объясняются – я не знаю, но они понимают друг друга.

На другой день я спросил Кузьму:

– С кем это ты гулял в субботу?

– А это пойги, парни чухонские! Они тоже по печной части... Всё смеялись надо мною!..

– Почему же смеялись?

– А над тем и смеялись, что вот я по семидесяти пяти копеек зарабатываю, а они по четыре марки в день закатывают!¹² Почти что вдвое!.. Петруха-то тут третий год работает, и эти пойги-то его знают, да только работать-то они не хотят к нему идти, потому уж очень дёшево!.. Говорил я и Петрухе, мол, очень дёшево ты платишь, и не раз говорил! И нечего тут смеяться!.. А Петруха-то и говорит: «А ты, – г-рит, – Кузьма, не фордыбачь и не слухай чухну! Ты, – говорит, – у меня вроде как ученик!..» Что с ним сделаешь, а пойги смеются и в свою артель зовут...

Кузьма подсел ко мне поближе. Лицо его вдруг сделалось серьёзным и с каким-то таинственным запросом в глазах.

– Видишь ли, господин, штука-то какая! Печников-то у них здесь мало, они и подговаривают меня к себе! «Больше, – говорят, – будешь зарабатывать, марки по три в день!..» А потом и ещё есть штука! Есть у них тут союз рабочих печников, они к этому союзу приписаны... Вот они и подговаривают меня, чтобы и я записался. А я боюсь!.. Запишешься к ним, поедешь в Росею, а потом тебя в Белоострове и сцапают!..

Мне пришлось прочесть Кузьме краткую лекцию о значе-

¹² Около 1 р. 50 к.

нии профессиональных союзов. Слушал он с большим вниманием, но, как я убедился, далеко не всё понял из моей лекции. Какая-то странная боязнь рабочих союзов точно сковывала его мысли, порабощала волю. Сколько я ни убеждал его скорее вступить членом в союз печников, он всё же таращил глаза и бормотал:

– Кто её знает – выйдет ли из этого хорошо-то?.. Поедешь в Росею, а тебя в Белоострове и сцапают!

По его расспросам о профессиональных союзах можно было судить, что ему соблазнительным представляется будущее, когда он вступит в союз и начнёт жизнь в дружбе и единении со своим братом-рабочим по печной части. Но он никак не мог свыкнуться с мыслью, что как же это так – русский он человек и вдруг «отрешится» от Петрухи, своего же российского товарища. Эту мысль он высказал с большой искренностью:

– Как же это так выйдет-то?.. От Петрухи, от русского человека я отрешусь и пойду к чужим?.. А потом доведётся ехать в Росею, а тебя в Белоострове и сцапают?..

Возможность катастрофы в Белоострове удержала его от решимости вступить в «союз чухонцев». Он остался работником у Петрухи и, продолжая зарабатывать по 75 коп. в день, питался селёдкой с хлебом и всё ждал, когда уродится молодой картофель, внеся разнообразие в меню его обеда.

Сколько я ни старался поколебать в нём страх перед Белоостровом и разукрасить будущую его жизнь в союзе с фин-

ляндскими печниками, он всё же остался верен своему решению. Сношений с пойгами он не прерывал. Жаловался даже, что они по-прежнему продолжают посмеиваться над ним, но всё же российскому товарищу Петрухе изменить не мог.

На фоне сурового пейзажа страны озёр фигура Кузьмы представлялась мне какой-то одинокой, странной и печальной. Я часто сравнивал его с теми овальными гранитными валунами, которыми усеяны финляндские поля, и из которых сооружена облюбованная нами каменная стенка на гребне холма. Тысячелетия назад эти валуны, оторванные от горных кряжей, носили на себе холодный льдины Ледовитого океана. Жизнь трудового человека родной мне страны также представляется мне большим холодным океаном. Носит этот громадный океан по земле русской громадный льдины, а на льдинах – люди, такие же, как и Кузьма, одинокие и нерешительные.

Когда я гулял по холму около каменной стенки в одиночестве, мне часто вспоминались Кузьма и его хозяин Петруха. Оторвались они от русской почвы и уплыли. Петруха скоро обретёт себе пристань, только бы покончить с разделом на старине. Ну, а Кузьма?.. О нём я боялся думать...

И оба они с тоской вспоминают, что где-то там, за дымкой дали, есть родная им сторонущка. Они скучают по этой родине так же, как скучают и по русской водке. Водку продают в Финляндии дорого, да ещё и по секрету. А у нас, на роди-

не, разливается она широким океаном и смеющимися и весёлыми волнами идёт навстречу волнам океана жизни. Волны эти пенятся, урчат как разъярённые звери и, сталкиваясь, рассыпаются.

А заброшенный на чужую сторону русский человек выходит по вечерам на гребень холма, грызёт подсолнухи, смотрит в туманную дымку и боязливо косится на новые условия чужеземной жизни.

В эти белые немые ночи я многое передумал о судьбе Кузьмы. А когда он приходил, садился рядом со мною и с тоской смотрел вдаль, мне хотелось его обласкать и стряхнуть с него грызущую тоску по родине.

Давид Мартинен

Давиду Мартинену шестьдесят два года, но он ещё бодр, иногда весело-добродушен и как и раньше умеет порадеть чужому горю или несчастью. Все жители прихода считают старика Мартинена почтенным крестьянином, и многие бедняки с завистью смотрят на его небольшое, но исправное хозяйство. За последние десять лет, впрочем, постройки усадьбы Мартинена обветшали, да и хозяйство упало: сам старик с каждым годом слабеет; сын его Юхано оказался плохим наследником и полевою работу не очень-то любит, и если бы не дочка Хильда, старику Мартинену пришлось бы нанимать батрачку для того, чтобы выдоить коров и сварить суп и картофель.

Молодой и здоровый Юхано от работы не отказывается, но работа сына как-то мало радует старика-отца. Больше всего на свете Юхано любит лошадей, холит двух саврасеньких меринков и лихо носится на своих рысаках по гладко наезженным шоссейным дорогам.

Знает Давид и ещё про одну сердечную рану Юхано. Два года прошло с тех пор. Любил Юхано дочь торпаря Лямбиани, юную, синеокою Матильду, и немало тихих летних вечеров провёл с нею на пригорке, где скрещиваются дороги... В начале почему-то очень беспокоила старика эта любовь. Давид Мартинен никак не мог себе представить, чтобы его

Юхано, наследник немалого клочка земли и хорошего хозяйства, мог жениться на дочери безземельного торпаря.

– Nään on sinua köyhempi¹³, – говорил он часто самому себе, хоть чувствовал, что ни словом не попрепятствовал бы этому браку, потому что любил Юхано.

После глубокой молитвы в уединении старик сказал себе, что никогда не будет говорить этой фразы, потому что такие мысли приходят от греха, от гордыни, а человек перед человеком равен как перед Богом. Было время, когда старик готов был сам идти к Лямбиани сватом за сына, но тут свалилась на его Юхано неожиданная беда. Уехала Матильда в Або на зимнюю работу, да так и не вернулась. Юхано затосковал, и одолела его тут эта блажь – склонность к русской водке и к картам. Но больше всего на свете Юхано любит лошадей.

Его лошади – красивые, выхоленные животные, с быстрым бегом, неутомимые при перевозке тяжестей. Юхано считается лучшим извозчиком на десять километров в округе, и дачники, любящие быструю езду, от него в восторге.

Но старика Давида мало утешает слава сына, и он нередко говорит ему:

– Женись, Юхано, тебе уж двадцать пять лет... Женись и займись хозяйством. Весь век дачники тебя не прокормят...

Особенное беспокойство за сына овладевает стариком зи-

¹³ Она беднее его – фин.

мою, когда дачники разъезжаются, и промысел извозчика перестаёт быть доходным. В минуты грустного раздумья он начинает укорять сына, а Юхано с усмешкой отвечает:

– Лошадей я за зиму прокормлю! Сена и овса довольно!

Юхано имеет особую причину хвастаться овсом и сеном. Участок земли для посева овса он сам всегда тщательно обрабатывает, с любовью убирает и сено. И всё это для своих любимцев-коней... Отец подумает-подумает и решит, что Юхано прав: сена и овса, действительно, запасено чуть не на две зимы. И он перестаёт ворчать и в уединении просит у Бога счастья сыну.

Но у старика есть и ещё забота. Это двадцатидвухлетняя дочка Хильда. Давно бы ей пора замуж, а она отказывает женихам, и Давид знает, что делает она это только ради него. Давид Мартинен овдовел давно, и кто бы стал вести хозяйство, если бы Хильда покинула родительский дом? Всякий раз с каким-то особенно скорбным чувством Давид думает о судьбе дочери, и чем больше он об этом думает, тем большей нежностью проникается к девушке. Одно только обстоятельство не веселит старика: Хильда не особенно религиозна, редко посещает кирку и совсем не читает духовных книг. Книг у Хильды много, но всё это – светские книги. Имеет Хильда пристрастие и к газете, интересуется делами сейма и нередко говорит со своими друзьями о политике и о жизни трудящихся. Давид Мартинен иногда заглядывает в книги дочери, читает внимательно, а когда старческие глаза уста-

нут, отложит книгу, вздохнёт и подумает:

«А всё правду пишут в этих книгах!.. Истинную правду!»

И только потом, после размышления о содержании светских книг, Давид вернётся к своим постоянным думам и скажет:

– А всё же без Бога не проживёшь ты, Хильда! Не проживёшь...

Девушка серьёзно посмотрит на отца и промолчит. Она избегает говорить с ним о Боге и о религии.

Когда Давид Мартинен узнал, что сын его пристрастился к картам, это его сильно опечалило. С нахмуренными бровями и сердитым выражением в глазах подошёл он к кругу играющих и резко сказал:

– Юхано, домой!..

Игравшие с удивлением посмотрели на старика, но никто из молодёжи не вздумал засмеяться. Давида Мартинена все уважают и любят. Без злобы посмотрел на отца и Юхано и сказал:

– Почему домой? Ещё рано... Лошади у меня убраны...

– Не делом ты занялся! – приподняв к небу руку, продолжал старик. – Карты, это – пагуба!.. Это преступление против церкви и Бога! Иди домой!

Сын не послушался. В эту ночь Давид Мартинен долго молился, прося Бога о просветлении ума Юхано. Когда вернулся Юхано, он с грустью посмотрел на него и сказал:

– Утянут эти карты тебя в бездну! И лошадей ты своих

можешь проиграть!

Сын только рассмеялся. Как будто отец не знает, что значат для Юхано лошади! Разве он может их проиграть?

Уговаривала Юхано бросить карты и Хильда, и говорила:
– Нет у тебя, Юхано, любви к книгам и газетам, а это так интересно!

– Давно я прочёл твои книжки! – отмахивался брат. – А газеты я читаю в чайной.

Чайная близ станционного вокзала также внушала Давиду отвращение и злобу. Многим было известно, что в этой чайной по секрету продают русскую водку, а с водкой Давид Мартинен никогда не примирится. В молодости, когда вся Финляндия отравлялась страшным зельем, он не пил, и теперь с душевным прискорбием смотрит на тех, кто пьёт. Вместе с другими благоразумными гражданами боролся он с пьянством в те памятные годы, а теперь он часто говорит:

– Если бы была моя власть, я смертной казни предал бы и тех, кто пьёт, и тех, кто приготавливает поганое зелье.

Юхано особенной склонности к водке не имел, но иногда возвращался домой навеселе. За чайной у станции водились и ещё кое-какие грешки. Ни для кого не было тайной, что содержатель чайной водится с русскими сыщиками, и нередко у него находят приют какие-то тёмные личности. Давиду Мартинену и это не нравилось, и он говорил сыну:

– Смотри, Юхано, ухо держи остро!

Юхано улыбался отвечал со смехом:

– Ха-ха!.. Чёрт отметил им рожи!.. Кто их не знает...

Не любил старик Мартинен и русских дачников, хмурил брови и ворчал:

– Портят они молодёжь. Ой, как портят!..

С каждым годом всё больше и больше дачники приобретали участки земли, строили дома на берегах тихих, задумчивых озёр, у полотна дороги и даже в глуши лесов. К этому «злу жизни» Мартинен относился особенно чувствительно. В беседе с крестьянами, особенно с теми, которые подумывали о продаже своих участков, старик нервничал, сверкал глазами и с неудовольствием выкрикивал:

– Что вы делаете!? У нас столько бедных торпарей, у них земли нет, а тут со стороны чужие люди приезжают и всё скупают!

Безземельные торпари постоянно были особой заботой Мартинена. Отправляясь на выборы депутатов в сейм, он постоянно думал о том, что сейм прежде всего должен устроить этих несчастных людей, а потом уже заниматься политикой.

Политики Мартинен не боялся, но считал, что, кроме политики, есть и ещё важные вопросы в жизни. Замечая нерадение молодёжи к церкви, он обращался душою к тому же сейму и молил депутатов, за которых клал бюллетени, побудить сейм издать скорее законы, укрепляющие в народе религиозность.

С этой целью он вступил и в члены религиозного союза «Свободная церковь». Увлекали его перед выборами своими

программами и члены крестьянского союза, и агитаторы рабочей партии, но старик оставался верным своим религиозным исканиям...

* * *

В приходе, где жил Давид Мартинен, членов «Свободной церкви» можно было насчитать не больше десяти, но старик знал, что где-то там, в Гельсингфорсе или в Або, к союзу примыкают сильные проповедники, и есть среди членов богатые и знатные aatelismiehiä¹⁴ и даже бароны, но довольствовался сближением со своим братом-крестьянином и ревностно выполнял правила союза.

– Да кто знает, правда ли это? – спрашивал он сам себя, считая «господ» плохими радетелями религии.

С весны Мартинен стал часто посещать дом лавочника Райвойнена, где обыкновенно собирались члены союза. Разговоры всё время велись о предстоящих выборах в сейм. Старики одних с Давидом лет говорили о предстоящей работе как о большом деле своей совести и с энтузиазмом восклицали:

– Проведём в сейм наших!.. Пусть установят религию!.. Натерпелись мы горя!..

И старики, подогретые в своих чувствах красноречием

¹⁴ дворяне – фин.

Райвойнена, начинали длинный разговор о несчастьях, которые переживает страна, и всё потому, что народ забыл о религии. Слушая стариков, Давид часто вспоминал свои разговоры и споры с дочерью Хильдой.

Хильда добродушно посмеивалась над отцом и говорила:

– Отец, не потому людям плохо живётся, что они мало молятся... Торпарь Хоттинен целые ночи молится, а как день придёт, то ему надо идти на работу к лавочнику Райвойнену... к вашему проповеднику...

– Райвойнен – хороший человек! – обижался за друга Давид.

– Я знаю, он очень хороший: хитрый как лисица и жирный как свинья, – продолжала девушка, и в её голубых глазах вспыхивали искорки...

Девушка вздохнула, провела по глазам рукою и добавила:

– Хоттинен молится всю ночь, а Райвойнен подсчитывает барыши... Днём ему тоже некогда молиться...

Старик прятал от дочери глаза, молчал и думал:

«Да... да... Хоттинену плохо живётся, а Райвойнену нет времени молиться»...

Это противоречие, ясное для старика, являлось каким-то странным скачком в его мирозерцании, но он всё же соглашался с дочерью. К остальным выводам Хильды он относился с каким-то сомнением и точно не доверял дочери.

А девушка, с воодушевлением в голосе, говорила:

– Надо дать земли торпарям и работы – безработным! На-

до уменьшить рабочий день!..

– Ага... да... да... надо! – соглашался старик. – Торпарям земли надо... Мы – христиане, они наши братья, – соглашался старик; но только он не знал, как же всё это совершится, кто же сможет сделать такое большое христианское дело?

Разговоры о судьбе безземельных людей велись и на собраниях союза. По представлению единомышленников Давида выходило так, что когда во всей Финляндии распространятся и окрепнут союзы «Свободной церкви», то именно эти союзы-то и сделают что нужно...

– Но как? Как это сделать? – спрашивал Давид и самого себя, и союзных ораторов.

И все они одинаково безнадежно задумывались над этим роковым вопросом и не знали, как же торпари вдруг станут людьми с землёю?

Когда на собраниях союза заходила речь о выступлениях на предстоящих выборах, все в один голос говорили, что безземельных торпарей и бедных крестьян надо объединить одним общим кличем: «Вся земля – для истинных христиан!»

А когда потом в руки Давида попал длинный избирательный листок, в котором перечислялись кандидаты в депутаты от всех партий, он убедился, что религиозные союзы выставили своим лозунгом фразу: «Объединение христианской бедноты!»

Это обстоятельство очень обрадовало старика. Вернувшись домой, он с сознанием собственного достоинства пока-

зал Хильде избирательный листок и воскликнул:

– Хильда, ты вот всё смеёшься над стариками! Читай – разве мы не заботимся о бедных людях!?

Девушка звонко расхохоталась.

– Отец! Да разве это случится?.. Разве может случиться так, что депутаты от вашего союза захотят поделиться землёю с бедными!? Ты же сам говорил, что у вас в союзе много помещиков и баронов!.. Возможно ли то, на что ты надеешься?..

Сомнения дочери прокрались в его сознание и там, на дне души, отложились также сомнением.

«В самом деле, ведь это тоже что-то неладное выходит, – думал старик, – захотят ли помещики передать землю торпарям?..»

О других своих сочленах, кто бы они ни были, он судил по себе. Если он в глубине души решил, что безземельные торпари должны иметь землю, и депутаты сейма об этом будут заботиться, то он ни на минуту не сомневался, что и другие члены союза и их будущие депутаты решат так же.

«А вдруг этого не случится? – думал он. – Может быть, и правду говорит Хильда: помещики и бароны только показывают вид, что заботятся о бедных. Надо же чем-нибудь привлечь голоса на выборах»...

Вынашивая в себе зерно таких сомнений, Давид уже не так доверчиво относился к своим приятелям-союзникам, хотя среди них не было ни баронов, ни помещиков. Правда,

лавочник Райвойнен – богатый человек, земли у него много. И о нём мог бы сказать Давид: «А что для тебя бедные люди? Ты хорошо живёшь!» Но он боялся думать так. С какой-то наивной, детской верой относился Мартинен к своим собратьям по союзу и верил им больше, чем самому себе...

* * *

Накануне выборов депутатов Давид Мартинен возвращался домой поздно ночью.

Молчаливая белая ночь не навевала на него тихих дум о молитве и жизни как раньше, а как будто тревожила в нём что-то новое, что было в нём с молодости, но истлело с годами.

Беззвёздное, белое, безоблачное небо... Где-то далеко ещё горит вечерняя зорька. На смену ей скоро загорится заря восхода. Молчаливый лес стоит и не шелохнёт листвою. Пыльная дорога безлюдна и пустынна. Над болотами поднимается туман и жмётся к лесу.

Давид Мартинен осматривался по сторонам и думал о минувшем дне. Истекшим днём он остался доволен.

После обеда он пошёл на собрание в лес, верстах в шести от дома. Предвыборное собрание устраивала рабочая партия, но известно было также, что на этом собрании выступить и оратор от крестьянских союзов. А этих ораторов Мартинен всегда слушал с особенным вниманием. Их речи о по-

ложении крестьянской бедноты всегда растрагивали старика, и он говорил:

– Вот это хорошо! Это – настоящее... То, что надо... Главное, о торпарях не забывают, о них заботятся...

Собрание в лесу было шумное и оживлённое. На обширной поляне среди соснового леса до начала речей шумными группами двигались люди. Тут были девушки в светлых платьях как на празднике, пойки, солидные крестьяне и старики в возрасте Мартинена. Молодёжь бродила толпами по откосу берега шумной лесной речки. Волны речки с непрерывным плеском перекатывались по камням. Местами шумели водопады, и их ровный шум сливался в общий хор с говором и смехом оживлённых людей.

Под кустами у речки юноши с красными ленточками в петлицах продавали партийные книжки и листки и открытки всевозможного содержания. В отдалении, за густой порослью ёлок, разместился походный буфет. Длинный и узкий стол, прикрытый белой скатертью. На столе – бутерброды, бутылки с лимонадом, стаканы чаю, апельсины, конфеты. На груди распорядительницы стола красовались букетики гвоздики. Девушки с оживлением заманивали пойг сластями и бутербродами, и около буфета было шумно и весело. Кое-где бродили любопытствующие дачники.

До открытия собрания толпа была настроена по-праздничному. Но вот, на возвышении, сооружённом из брёвен и досок, появился оратор, и гул голосов постепенно затих.

Около оратора теснее сжалось кольцо из слушателей.

Давид Мартинен протискался к самой трибуне, потому что плохо слышал. Но он внимательно, с напряжением слушал и старался не проронить ни слова из речи оратора.

Когда говорил представитель рабочих, по лицу старика бродила умильная улыбка, и он мысленно твердил: «Да, да... Это правда»... Представителя рабочих сменил крестьянский оратор, и на лице старика снова бродила умильная улыбка, и он опять говорил себе: «Да, да... Это правда»...

Речь господина в очках, оратора от младофиннов, толпа слушателей выслушала с вниманием, но когда он кончил речь, в толпе жидко зааплодировали, тогда как речи обоих предыдущих ораторов потонули в гулком всплеске аплодисментов и возгласов.

Во время речи младофинна Мартинен улыбнулся и негромко говорил:

– Ну, ну... говори... так тебе мы и поверили!..

В толпе шутили и вызывали на трибуну оратора от старофиннов. Но никто из ораторов этой партий не выступил. Очевидно, они ещё не забыли, что во время предыдущих выборов на этой же поляне был осмеян помещик Соннинен, вздумавший побрататься с ораторами от народа.

В начале собрания Мартинен пожалел было о том, что на трибуне не появится оратор от их союза.

«Как же это так? Ни слова не скажут?» – думал он, но потом внимание его сосредоточилось на речах, и он забыл

о своём союзе. То, что он услышал на собрании, захватило его и наполнило душу до краёв.

С этим впечатлением он и ушёл из леса, когда загремел оркестр музыки, и молодёжь пустилась в танцы. Бредя в одиночестве, по пустынной дороге, в молочном свете белой ночи, он перебирал в памяти целые фразы из речей, вспоминал отдельные слова и чувствовал, как тускнеют перед смыслом этих слов его молитвенные думы, с которыми он явился на собрание.

На собрании он повстречался с дочерью. С красной ленточкой на кофточке она ходила в толпе и продавала листки и открытки в пользу партии.

– Ну что, отец, доволен, что со мною пошёл? – спросила она.

Он моргнул глазами, улыбнулся и купил у дочери какой-то листок. И сделал он это так, безотчётно. Ему было весело и отраднo в шумной толпе, а тут подошла к нему Хильда. Красная ленточка на её груди показалась ему чем-то таким особенным и значительным.

«Вот она какая у меня, Хильда-то!.. Партия ей доверяет»...

И ему захотелось стать ближе к дочери и разделить с нею общие интересы.

Остаток ночи Давид Мартинен провёл плохо. Ему не спалось, а думы, всё новые думы осаждали голову. Он чувствовал в себе какое-то раздвоение. Какое-то колебание в мыс-

лях не давало ему заснуть. Раньше его увлекали своими разговорами друзья по союзу, и он верил всему, о чём они говорили. А теперь ему представляется, что кто-то взял эти слова в руки, нажал их и выдавил из них все соки. И слова поблекли, как блекнут скошенные цветы на лугах.

То, о чём он всегда думал, ближе к небу и к Богу, но далеко от жизни и от людей. А то, о чём говорил оратор от крестьян, то – сама повседневная жизнь, в которой и сам Мартинен барахтается как навозный жук, положенный на спинку.

Утром он проснулся поздно, выпил два стакана кофе и, молча любуясь своей Хильдой, чистившей картофель к обеду, думал о предстоящем путешествии в школу, где должны были произойти выборы депутатов.

Пережитые им колебания ещё давали о себе знать, точно тонкой иглой касались его совести, и она ныла...

«Как же так изменю я своим?» – думал он, но потом думы эти уступали новым настроениям.

Вручив председателю собрания свой бюллетень с отметкой против фамилии крестьянского кандидата, он вышел из здания школы с поникшей головою и думал:

«Бог не взыщет... По совести я поступил»...

В дни выборов

I

Как-то раз, в воскресенье утром, госпожа Зигер, хозяйка дачи, где я живу, – была особенно ко мне благосклонна. Я знал, что она не особенно любит русских, и только «дачники» примиряют её с собою. «Дачники нужны нам», – откровенно говорит она при этом.

Пригласила меня госпожа Зигер на чашку кофе, радушно улыбалась, и, к моему удивлению, была необыкновенно разговорчива. Интересовалась она и моим здоровьем, и работой, и тем, хорошо ли я сплю в белые ночи?

Госпожа Зигер – дочь Норвегии, а Финляндию она любит как вторую родину. Она пятидесяти лет, полная дама, с обрюзгшим зелёным лицом. Голубые маленькие глазки её заплыли в складках, в русой северной косе видны нити седины. По-русски она говорит прекрасно, держится с достоинством и ко мне относится покровительственно.

– Хорошо ли вам жить у нас? – спросила она меня, когда я присел у маленького столика под ёлками.

– Прекрасно, – отвечал я. – Только в даче немного сыровато, – старался пояснить я хозяйке о своём горе, потому что

за последние дни испытывал «муки отсырения», как выразился один мой приятель, недавно навестивший меня в уединённой даче на берегу озера Вамильярви.

Ещё не совсем достроенная дача госпожи Зигер действительно оказалась сырой до такой степени, что платье, висевшее на стенке, заплесневело, табак делался влажным. Бело-жёлтые, недавно выструганные и пахучие сосновые брёвна точили красивую янтарную смолу, но как только забудешься и прислонишься к стене, – платье запачкается смолой, и потом долго приходится ходить с какими-то подозрительными пятнами на рукавах или фалдах... Одним словом, прелести жизни в сосновом лесу отравились, и я уже мечтал о том, чтобы перебраться в пансион на гору... Кстати стояла ненастная погода, непрерывно шли дожди, ещё больше содействуя моему «отсырению».

Но моя жалоба на отсырение не произвела должного впечатления на госпожу Зигер, и она довольно равнодушно заметила:

– Дача новая, сырость должна быть... На будущий год будет сухо.

Она принялась расхваливать мои физические упражнения в саду и на её огородах и при этом добавила, что приготовила для меня и ещё новую и интересную работу. Любила она, когда я занимался физическим трудом, и всячески поощряла меня в этом.

Отклонив разговор о «муках отсырения», госпожа Зигер

воскликнула:

– Вы слышали, у нас скоро выборы в сейм.

– Да, я знаю... Я сегодня собираюсь на собрание, – ответил я.

– Вы идёте на собрание? – изумилась она, и узенькие глазки её расширились. – А для чего вам идти на собрание?

– Я интересуюсь выборами... А вы принимаете участие?

– Ещё бы, – воскликнула она, и голос её зазвучал как у молодой.

Она придвинулась ко мне, и камышовое кресло под её грузным телом затрещало.

– У нас и женщины принимают участие в выборах. На выборы и я поеду, вот только на собрание мне трудно – тяжела уж я очень...

Госпожа Зигер – действительно тяжёлая дама, и быть на собрании для неё – тяжёлое дело.

– Мы идём на собрание с госпожой Реш, – заметил я.

Собеседница моя улыбнулась, загадочно посмотрела на меня и сказала:

– А эта... Реш обратила вас в свою веру?

– Нет, у меня своя вера, – сказал я, улыбаясь.

– А я уж думала, что вы... Часто вы уж у неё бываете, вместе гуляете.

– Госпожа Реш – интересная женщина, – настаивал я, – и новая для меня.

– Я ничего и не говорю... Интересная болтушка... Ну,

разве случится когда-нибудь так, как она хочет?.. «Люди – братья... Люди – братья». Стыдно бы ей на старости лет стрекотать сорокой... Спасать задумала людей... «Армия спасения» и ещё что-то там...

Разговор о госпоже Реш оборвался.

С широкого крыльца обширной террасы дома, где жили мои хозяева, сошёл муж госпожи Зигер. С белой от седины головою, в белой чесучовой паре он ярким пятном двигался в лучах солнца и бережно нёс в руках тарелку с только что испечёнными розовыми булочками. Ступал он осторожно и улыбаясь смотрел на жену.

Госпожа Зигер пожаловалась на дороговизну жизненных продуктов и похвалила кухарку, которая умеет печь прекрасные булочки.

Старик Зигер протянул мне руку, здороваясь, потом поднёс ко мне тарелку с булками, улыбнулся и что-то сказал по-фински.

– Он сказал, что любит вас, – перевела мне слова мужа хозяйка.

Господин Зигер старше жены. Он дряхлый старик с бритым подбородком. Может он объясняться по-русски, но избегает это делать, потому что стесняется. А стороной я слышал, что он не любит ни русских, ни финнов и с большой серьёзностью в лице читает шведоманские газеты.

– Вот любить другого человека – можно, если он хороший, – продолжала разговор госпожа Зигер. – А «люди – бра-

тъя», всё это глупость... Послушали бы, что говорят рабочие о нашей партии... Ну, какие они нам братья, эти рабочие?..

– А вы к какой партии себя причисляете? – любопытно спросил я.

– Отец мой – человек благоразумный... муж – тоже, ну и я... – уклончиво отвечала она и притворно, как показалось мне, закашлялась.

Я понял, что госпожа Зигер принадлежит партии «благоразумных». Это так шло её преклонным годам, степенной наружности и положению богатой помещицы...

– Тоже вон и у нас есть безумные люди... И образованные, и с положением, и с состоянием, а вот – посмотрите на них...

– Кто же это?

– А младофинны... Им с нами бы заодно. У нас вся знать – бароны, помещики, купцы богатые. А они за свою программу держатся и мешают нам.

Госпожа Зигер назвала несколько старинных финских фамилий и при этом добавила, что если бы весь народ пошёл по тому пути, на который зовут его за собою «почтенные» и «благоразумные», то сейма никогда бы не распустили.

– А то подумайте, – продолжала она, – сколько нам стоили минувшие выборы, а теперь вон опять расходы.

Она говорила долго и, по-видимому, уверила в убедительность своей речи. Я не оспаривал положений моей собеседницы, и это расположило её ко мне ещё больше.

На прощанье она взяла с меня слово, что я, возвратив-

шись с собрания, найду к ней и расскажу обо всём, что увижу и услышу. Я пообещал.

II

После обеда мы с госпожой Реш отправились на собрание.

Госпоже Реш лет сорок, юрка она и энергична, говорит быстро, волнуется, всегда куда-то торопится, а когда заговорит на излюбленную тему, голубые глаза её горят как у девушки в семнадцать лет.

Она – офицер «Армии спасения» и ни от кого не скрывает своего положения. Меня она долго и упорно склоняла к тому, чтобы и я примкнул к их «союзу праведных», а когда убедилась в бесполезности своей агитации, махнула на меня рукою и предсказала, что я «непременно погибну». Разномыслие и вечные споры с нею не отталкивают меня от неё, и мне казалось, что она всё же надеялась увлечь и меня чарами своего духа.

Я столовался у госпожи Реш. Она – вегетарианка, кормила плохо и не сытно и тем действительно склонила меня и к вегетарианству, и к воздержанию в пище. Одну неделю, например, я ел черничный суп, черничный кисель и пироги с черникою, губы мои и зубы почернели, и руки я по несколько раз мыл, но всё же они были окрашены черникою.

Жила госпожа Реш у подножия высокого и красивого холма, на берегу озера. По субботам к ней откуда-то приезжал

муж её, степенный финн, в крахмальных воротничках. Муж её не проронил со мною ни слова, а он и не говорил по-русски, а она прекрасно говорила, потому что лет десять прожила в Петербурге, служа экономкой в какой-то баптистской богадельне, а потом поселилась в Финляндии и купила себе маленькую усадьбу. Каждый год она обязательно ездила в Норвегию, на собрания воинов «Армии спасения» и оттуда возвращалась с Евангелиями, листками какими-то и брошюрами. Русских она любит, потому что «не может не любить человечество». О любви к человечеству она могла говорить очень долго и обстоятельно.

Нам предстояло путешествие в восемь или десять километров. С нами пошёл ещё какой-то хмурый, немолодой финн, которого госпожа Реш называла Генрихом, и который был сапожником из соседней деревни. Генрих всю дорогу кашлял, а госпожа Реш говорила, что у сапожника чахотка.

– А он поганой трубки изо рта не вынимает, и ничего я не могу с ним сделать, – говорила о сапожнике госпожа Реш.

Генрих, действительно, всю дорогу сосал трубку и очень часто останавливался и закуривал, а потом опять плёлся за нами, покашливая и моргая подслеповатыми глазами с белыми ресницами.

Когда Генрих догонял нас, между нами завязывалась общая беседа. Сапожник плохо говорил по-русски, я не понимал по-фински, и госпожа Реш была для нас с ним, так сказать, двусторонним переводчиком.

– Вы не думайте о нём плохо, – говорила она, – стар он, а своей партии не изменяет.

– А какой он партии?

– Социалист... Социалист, – два раза повторила госпожа Реш и как-то особенно посмотрела на Генриха.

– Ему бы к нам присоединиться, а он...

Она даже рукою махнула в сторону Генриха и быстро заговорила с ним о чём-то. Я видел, с каким напряжением старый Генрих смотрел на свою собеседницу, и лицо его по мере разговора становилось более оживлённым. Он внимательно выслушал длинную речь госпожи Реш, а потом и сам заговорил довольно горячо. Из пояснений госпожи Реш я понял, что она снова старалась склонить Генриха к партии христианских рабочих, но старик, видимо, стоял крепко на своей партийной платформе и чем-то сердил госпожу Реш.

Потом у нас у троих снова завязалась общая беседа. Задавал вопросы я, а госпожа Реш переводила их Генриху и передавала мне ответы старика сапожника. Из сообщения Генриха я узнал много интересных подробностей о работе социалистических партий в нашем приходе. Узнал я и о том, как протекали предвыборные собрания.

Последние выборы депутатов в сейм население всех приходов признало «вялыми». Одни объясняли эту «вялость» тем, что выборы неудачно совпали с начавшимися полевыми работами, другие указывали на более серьёзные причины, ссылаясь на понижение интереса населения к сейму и его

работе после роспуска. Последнее объяснение можно было считать более соответствующим действительности, так как роспуск сейма, несомненно, понизил интерес населения к работе депутатов при существующих условиях, и многие горячие участники предыдущих выборов как будто над чем-то призадумались.

В тех приходах, о которых идёт речь, партийная борьба ожидалась, собственно, между двумя партиями – партией младофиннов, которые считают себя сходными по программе с нашими к.-д., и рабочей партией, примыкающей своей программой к с.-д. Старофинны, потерпевшие поражение на предыдущих выборах, совсем не проявляли жизни, собрания вели замкнуто, «в кругу своих», хотя кое-где на собраниях других партий и выступали их ораторы со своими степенными речами. Представители крестьянского союза, напротив, с большим рвением защищали свою программу, и во многих приходах губернии победа ожидалась за ними. Крестьянский союз выставил на щите программы своей слова «надо беречь будущий сейм» и посему имел успех среди умеренного населения. Этот лозунг крестьянского союза, в свою очередь, волновал рабочие группы, и можно было ожидать борьбы между демократическими группами избирателей.

Шведоманы в приходах моего наблюдения совсем не выступали на собраниях, да было бы и бесполезно это выступление: в Выборгской губернии не так-то много приверженцев

этой партий.

Представители «христианских рабочих» на выборах решили вести отчаянную борьбу с остальными демократическими группами, а больше всего с с.-д., которые будто бы сорвали только что закрывшийся сейм.

С печалью в глазах госпожа Реш говорила:

– Мало нас... Трудно бороться с другими... А ораторы у нас есть как ни в одной партий.

Она глубоко верила в искусство ораторов своей партии, но потом действительность разбила эту веру, хотя госпожа Реш и старалась казаться равнодушной.

Представители религиозных союзов как и старофинны не имеют за собою хорошо сплочённых народных масс...

...

Из двух борющихся партий младофинны были обставлены с внешней стороны лучше, нежели рабочая партия. Почти в каждом крупном населённом пункте младофинны имеют свои, так сказать, партийные организации – клубы и народные дома, которым приходится конкурировать в смысле влияния с народными домами, открытыми рабочей партией, за последние годы. Но зато прочность организаций рабочих союзов превосходит сплочённость младофинских организаций. У младофиннов больше материальных средств, имеются лучшие ораторы из среды интеллигенции, но это именно только ораторы, общающиеся с массами только в исключительных случаях, – «наездом на велосипедах», как ост-

рят по адресу младофинских ораторов рабочие. Агитаторы же и пропагандисты рабочей партии, в большинстве случаев, постоянно живут в тесном общении с массой трудящихся. Это различие в продолжительности воздействия даёт различные результаты: рабочая партия отличается большей сплочённостью своих членов, нежели партия младофиннов.¹⁵

За день до нашего путешествия на предвыборное собрание вместе с госпожой Реш, я беседовал с одним представителем рабочей партии.

– Что, будете вы выступать в Н...? – спросил я.

– Не знаю, как выйдет, – отвечал он. – Младофинны не очень любят наших ораторов и не допускают говорить.

– То есть как же это? Разве на собраниях стеснена свобода слова?

– Народный дом, где будет собрание, выстроен младофиннами. Они – хозяева. Захотят – допустят, не захотят – нет...

Отношение младофиннов к ораторам рабочей партии госпожа Реш нашла не выдерживающим критики.

– Собрания должны быть свободны как у нас, – воскликнула она. – Если младофинны этому противятся, значит они не сильны в своём учении, значит они плохо верят в себя...

В ней сказался фанатик-агитатор «Армии спасения».

¹⁵ Более доказательные данные читатель найдёт в книге А. Коллонтай «Жизнь финляндских рабочих», а также и в статьях того же автора, помещённых в «Образовании» за 1907 г., кн. 4, 5, 6, 7.

Агитаторы и пропагандисты последней, действительно, не боятся никаких внешних стеснений и выступают со своими проповедями везде, где только представляется возможным говорить, поучать, бороться открыто с обнажённым злом жизни.

В этом смысле на ораторов «Армии спасения» похожи агитаторы рабочей партии Финляндии. Они также не боятся своих идейных противников и выступают с речами во всех подходящих случаях.

Позже, в беседе с одним интеллигентом младофинном, я высказал своё удивление по поводу того обстоятельства, что младофинны стесняют ораторов-представителей рабочей партии. Собеседник мой, учитель В...ской гимназии, улыбнулся и ответил:

– Чего же вы хотите?.. Мы – финляндские кадеты...

III

«Народный дом», куда мы пришли, приютился у шоссе, в небольшом садике с малорослыми берёзками и ёлочками. Окна дачного дома были настежь раскрыты, и с улицы были видны головы, спины собравшихся женщин и мужчин. Молодые парни сидели и на подоконниках, обернувшись спинами к улице. На крыльце и на террасе также толпились люди, не попавшие в самое помещение.

В конце аллеи садика у калитки толпилась дачная моло-

дѣжь – барышни в светлых костюмах, гимназисты, студенты. Веснушчатый кадетик рассматривал велосипед приезжего оратора и о чём-то пикировался с реалистом. К велосипеду был привешен большой портфель и сумочка.

– В этом портфеле оратор возит запас необходимых аргументов, – сострил над младофинским оратором студент.

Молодѣжь громко засмеялась. С крыльца «Народного дома» послышался окрик:

– Тс... Тише...

Собрание уже открылось. Через небольшое крылечко я, идя за госпожой Реш и Генрихом, протискался в небольшой зал, с потемневшей лампой посредине потолка. От серо-грязных обоев на стенах веяло запустением. В зале, несмотря на приток свежего воздуха в раскрытые окна, было душно и жарко. Пахло потом, кожей обуви. Но духота, по видимому, не стесняла собравшихся.

Солидные старики, загоревшие мужчины в возрасте 30–40 лет, юные «пойги», женщины и девушки сидели на длинных скамьях вперемежку как в кирке. Я подсчитал число собравшихся. Их оказалось: 56 женщин и 32 мужчины. Среди старших были и дети 5–6 лет, подростки и даже грудные дети на руках у матерей. Посетители собрания хранили молчание, и только в углу на руках какой-то женщины с покрасневшимся лицом беспокойно ворочался и попискивал грудной ребёнок. На мать косились недовольные соседи, но она сидела спокойно и внимательно глядела в сторону оратора.

За большим столом у стены размещался президиум собрания; председатель, человек лет 40, в толстом пиджаке и в крахмальной сорочке. В конце стола спиной к публике сидел секретарь собрания, молодой крестьянин с гладко зачёсанными белыми волосами. За столом ближе к стене размещались степенные финны, члены местного комитета партии младофиннов.

Оратор, молодой человек лет 30, стоял рядом с председателем. Говорил он медленно и скучновато, с паузами, с неопределённым в голосе мычанием – «э-э-э»... и то поднимал глаза к потолку, то опускал их и точно искал взглядом в публике сочувствующих его речи. Это был специально разъездной оратор от партии младофиннов, учитель одной из Гельсингфорских гимназий.

Вкратце мне перевели содержание его речи.

Развёртывая перед слушателями свою программу, оратор старался выяснить программы других партий и критиковал их. Восхваляя разумную и «реальную» политику младофиннов, он говорил, что если будущий сейм обогатится представителями младофиннов, то сейм никогда не распустят, потому что «мы, – как пояснял оратор, – сумеем удержаться в конституционных рамках и не раздражим правительства в Петербурге».

– Мы не забудем интересов бедных и трудящихся классов страны – рабочих, крестьян, торпарей... Мы позаботимся о нравственности народа. Мы введём торговлю и промыш-

ленность в русло процветания. Мы увеличим финансы страны, оберегая интересы трудящихся и не поколебав жизненных основ работодателей...

...

Отмежевавшись от партий старофиннов и называя представителей последних «людьми застоя и смерти», оратор, однако, отметил, что эти «люди смерти» всё же ближе к жизни, нежели «утописты-шведоманы», «невежественные» представители крестьянских союзов, которым надо ещё пройти школу, прежде чем заняться политикой, и «социалисты-рабочие, для которых „нет ничего в прошлом“, а мечтают они только о своём будущем».

– Рабочая партия называет себя социал-демократической... Это – правда, граждане, они – социалисты... Они – безумные люди... Благодаря их парламентскому поведению правительство распустило наш сейм. Они сердят правительство и подталкивают его на путь репрессий по отношению Финляндии. Конституционно настроенный сейм не распустят. В этом его право на существование... А наша рабочая партия подрывает основы сейма своими бреднями, прислушиваясь к голосам социалистов из России... А социалисты России превратились теперь в экспроприаторов, грабителей и воров. Почему же наша рабочая партия слушает их и идёт за ними?... Финляндия никогда не терпела ни грабежей, ни экспроприаций. А наши социалисты толкают наш народ на эти преступления... Не голосуйте, граждане, за со-

циалистов. Они сгубят Финляндию. Наши социалисты прикрывают в пределах страны социалистов и анархистов-экспроприаторов из России. Это недопустимо...

...

Оратор закончил свою речь горячим призывом граждан выбирать в сейм представителя партии младофиннов.

Но странно, его речь, горячая и страстная в конце, не произвела никакого впечатления на слушателей... им дорога та связь, которая неразрывна между ними, демократами страны, с представителями крестьянских союзов и с представителями рабочей партии. Оратор, по-видимому увлёкся и... неосторожно коснулся настроения низов, и его горячее слово обратилось в холодную риторику.

После перерыва в четверть часа оратором выступил представитель рабочей партии, молодой человек лет 25. Мне называли его фамилию и даже говорили о нём как о начинающем беллетристе и авторе напечатанных в рабочих газетах рассказов из рабочей и крестьянской жизни. К сожалению, мне не удалось с ним познакомиться: после окончания собрания он поспешно вскочил на свой велосипед и умчался на какое-то другое собрание, где его поджидали как очередного оратора.

Во время перерыва президиум собрания агитировал за сокращение продолжительности речей ораторов до 15 минут. Благодаря тому, что речь оратора от младофиннов тянулась два с половиною часа, и слушатели достаточно утомились, —

предложение президиума прошло подавляющим числом голосов. Даже и голосования-то не было: гул голосов одобрил предложение, а секретарь собрания, младофинн, поспешно занёс голосование в протокол.

– Вот они, младофинны, всегда так, – заметил мне стоявший рядом со мною рабочий-финн, мой перевозчик, – затянут речь до двух-трёх часов, народ утомится и тогда уж и не слушает наших ораторов...

– Обструкция на голосовых связках, – сострила стоявшая впереди меня знакомая курсистка.

Рабочий-финн горько усмехнулся.

Представитель рабочей партии говорил горячо. Он начал свою речь тем тоном, каким закончил свою речь его предшественник. Очевидно молодой финский писатель наэлектризовался содержанием речи младофинна. Благодаря ограничению продолжительности речи до 15 минут, оратору от рабочих весьма кратко пришлось коснуться критики программ других партий. Свою речь оратор от рабочих свёл к тому, чтобы отпарировать нападки предшественника по слову на социалистов.

...

Звонок председателя прервал речь оратора. По комнате пронёсся гул голосов. По разочарованным лицам собравшихся можно было судить, что перерыв речи оратора рабочих не вплетал лишнего цветка в венок славы младофиннов. Учитель из Гельсингфорса отвечал рабочему и старался раз-

влечь слушателей остротами по его адресу.

Но настроение упало, и собрание закрылось.

IV

В день выборов с раннего утра даже и мною овладело какое-то беспокойство. Как будто и я принимал участие в выборах.

Госпожу Реш я уже не застал дома, а от её дочери узнал, что она не ночевала у себя и провела ночь на каком-то союзном собрании или «радении».

Старика Зигера, в новой пиджачной паре и в крахмалке, я встретил у ворот. Он стоял у столба и пристально всматривался в излучину дороги на повороте. Мы с ним поздоровались, и он улыбнулся и точно смутился отчего-то. Что-то он говорил мне, но я никак не мог понять его слов, и только его нервные жесты до некоторой степени разъясняли дело. Как оказалось, в костюме старика не всё в порядке – не хватало галстука. Когда я принёс ему свой галстук, и мы вместе с ним закончили его туалет, он очень сильно пожал мне руку и улыбнулся. Был счастлив и я: мой галстук на шее старого выборщика принимал участие в выборах...

Старик Зигер, этот полуживой человек, приехавший в Финляндию, чтобы умереть, собирался подать свой голос, быть может, в последний раз в жизни. Мне казалось это праздничное настроение дряхлого старика таким красивым

и трогательным. Тень человека тянется трясущеюся рукою к избирательной урне. Может быть, его голос поможет его партии одержать победу. А умри он в ту минуту, когда я повязывал ему галстук, и результаты выборов достанутся другой партии... И в этом большом деле есть какая-то фатальность...

Я одиноко пошёл в училище, километров за шесть, где был установлен избирательный пункт для нашего прихода.

В эти часы выборного дня дорога оживилась. Меня часто перегоняли быстро идущие мужчины и женщины. Все были нарядно одеты как в часы молитвы в кирке. Шли торопливо и молча, и от этого молчания веяло серьёзной торжественностью. Со многими из выборщиков я пробовал заговаривать, но они отмалчивались, как будто и путь к избирательной урне имел для них значение религиозного радения. Иногда меня перегоняли пылящие по дороге брички. Ехали большею частью по двое: муж и жена, старик-отец и сын. Промчались на быстрой лошади две молодые женщины, весёлые, нарядные. Мелькнули перед глазами светлые платки на их головах и утонули в клубках пыли. С грохотом проехала телега. В ней сидели три женщины и трое мужчин. Это – коллективная поездка на выборы. Почти у самой школы меня опередила бричка извозчика, а в ней сидели мои знакомые – госпожа Зигер и её муж. На ней старомодная шляпа с перьями и тёмный бурнус; на нём – широкополая шляпа. Они оба приветливо раскланялись со мною, и я видел, с ка-

ким старанием старик Зигер прижимал к шее приподнятый воротник пальто. Он, очевидно, боялся запылить крахмальную сорочку. Милый старик, понадобится ли ему эта сорочка для следующих выборов? Может быть, в этой сорочке его положат в гроб и схоронят. Впрочем, это будет после, потом, а сегодня он жив, здоров и пользуется своим гражданским правом и едет выбирать «лучших людей». Что-то трогательное осталось в моей душе с представлением об этом старике. Подходя к школьной ограде, я видел, с каким трудом вылезли из брички старики Зигер. Извозчик поддерживал их за руки. И они медленно старческой походкой направились к зданию школы.

У крыльца школы я увидел госпожу Реш. Она стояла в группе мужчин и женщин и о чём-то оживлённо беседовала. Размахивая руками, она силилась убедить в чём-то своих слушателей. Наверное, агитировала за кандидатов своей партии христианского союза. Она была нарядно одета, и на её лице лежало серьёзно-суровое выражение. С четой Зигер госпожа Реш поздоровалась холодно, в мою сторону милостиво улыбнулась.

Вся избирательная процедура в Финляндии совершается весьма просто. У входа в школу стоял распорядитель с национальной лентой в петлице пиджака. Входящих избирателей он даже и не опрашивал, и не останавливал проверкой полномочий, очевидно, зная всех их в лицо. На меня он посмотрел с запросом в глазах, но когда госпожа Реш объясни-

ла ему, что я – журналист, он жестом руки выразил мне гостеприимство и просил войти в зал школы.

Выборщики входили в классную комнату, не торопясь и не толкаясь, и потом бесшумно выходили, сделав всё, за чем являлись.

За большим столом, прикрытым тёмно-зелёным сукном, сидела красивая, очень нарядно одетая дама. Это жена местного лавочника, а на сегодня – председательница выборного собрания. Около неё сидели уполномоченные: два старика с бритыми подбородками и молодой человек, представитель рабочей партии, о чём можно было судить по красной ленточке в петлице его сюртука.

Предо мною мелькали морщинистые, жёлтые лица стариков, выцветшие глаза... Мелькали лица мужчин, на которых жизненная тревога отложилась ещё редкими и неглубокими морщинами. Мелькали лица женщин, молодых и старых, нарядно одетых и одетых попроще. И в глазах этих женщин я читал выражение, которым не могут похвастаться женщины моей родины. В эту минуту я завидовал этим женщинам и думал: «У них право избирать „лучших людей“, а когда это право будет у моей жены, сестры, дочери?..»

Возвращаясь по пыльной дороге домой, я одиноко шёл с тихой грустью. А навстречу мне шли и ехали старики, молодые женщины, старухи, загоревшие мужчины, оторвавшиеся от полевых работ ради работы политической. И у каждого из них в руках был бюллетень, этот могучий ключ к же-

лезной, плотно припёртой двери жизни, за которой таилось будущее счастье человека...